

# НОВОСЕЛЫЕ

35-36

НЬЮ-ИОРК

1 9 4 7

# NOVOSELYE

A RUSSIAN LITERARY MONTHLY

Editor ..... S. PREGEL

Editorial and Administrative Offices:

330 West 72 Street

New York City

Telephone: ENdicott 2-1660

## СОДЕРЖАНИЕ :

 317

В. Варшавский. «Командо» .....	3
София Прегель. На берегу. Утро в парке .....	32
Вадим Андреев. Поэма о камне .....	34
Тэффи. Преступник .....	38
Николай Оцуп. Демон и Мессия .....	45
Ант. Ладинский. На римских табличках .....	48
Вл. Корвин-Пиотровский. Сад .....	56
Е. Щербаков. Стихи .....	57
Татьяна Остроумова. Стихи .....	58
Виктор Мамченко. Монахо .....	59
П. Ставров. Чортов спуск .....	60
Ю. Терапиано. Ласточка .....	64
Михаил Чехонин. Книги .....	65
Ек. Бакунина. Стихи .....	66
Ирина Грэм. Атаманщина .....	67
Григорий Хмара. К. С. Станиславский .....	75
С. Дубнова. В созвучии с эпохой .....	83
И. Кривошеин. Русские участники Сопротивления во Франции ..	91
А. Н. Мандельштам. Севрский трактат 1920 года .....	102
Б. Сосинский. С книгой по жизни .....	109
Марк Слоним. Рассказы Тэффи .....	115
С. Дубнова. То, о чем нельзя забывать .....	116
Я. А. Бромберг. Заметки по вопросам ранней истории Руси .....	120
Николай Бердяев. С. И. Либерман .....	125
О. Андреева. Серафима Павловна Ремизова .....	127

## Your Patriotic Duty

IS TO BUY

**SAVINGS BONDS**

and Stamps

*INTERNATIONAL RARE METALS REFINERY, Inc.*  
New York, N. Y.

*Printed in the United States of America*  
by Rausen Bros., 417 Lafayette Street, New York 3, N. Y.

# НОВОСЕЛЬЕ

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией СОФИИ ПРЕГЕЛЬ

№ 35-36

ИЮЛЬ-АВГУСТ 1947

---

---

В. ВАРШАВСКИЙ

## “ КО М А Н Д О ”

( О т р ы в о к )

«Считаю нужным предпослать моим «отрывкам» небольшое объяснение. Я избрал форму рассказа от собственного лица для большего удобства — и потому прошу читателя не принимать «я» рассказчика сплошь за личное «я» самого автора.

**И. Тургенев.**

До войны, случалось, у меня не было денег на обед или ужин, но мне не приходилось голодать. Голод изменил теперь все мое ощущение жизни и все мои мысли. И днем и ночью о чем бы я ни думал, я теперь чувствовал под ложечкой неотступное присутствие неопределимой боли. Это была ноющая пустота, неумолимо, точно злое и страшное существо, вгрызавшаяся в живую ткань моих внутренностей. «Ты должен есть, ты должен меня насытить, или я все «глодаю» внутри тебя» — говорила она так властно и грозно, что все силы моей жизни были сосредоточены только на одном: как достать что-нибудь съестное. Я не мог больше ждать, — и во мне вызывало чувство недоумения и отчаянья то, что никто не давал

## Н о в о с е л ь е

мне еды, хотя все знали, как мне необходимо есть, чтобы жить.

Перед отправкой в «командо» нас повели в душ. Раздеваясь, я не узнал своих ног: икры совсем исчезли, а между стегнами, хотя я стоял составив ноги, был широкий пустой проем, отчего они казались искривленными. Мне стало жалко себя, и на глазах у меня выступили слезы, но я должен был поспешно выпрямиться, так как теперь всякий раз, когда я нагибался, у меня кружилась голова. Я посмотрел на товарищей. Я знал, раньше они были людьми разного общественного положения, разного возраста и телосложения, но теперь все казались похожими друг на друга. Одни были повыше, другие поменьше, но у всех было одинаково отекавшее, стаявшее тело, точно чудовищно растянутая груша, узкое в груди и раздутое внизу вспученным животом, с остро торчащими худыми лопатками, тощими жалкими ягодицами, странно ничтожными ножками и детски слабыми руками. Мы копошились в тесной бане, словно бледные человекообразные черви, и я все время чувствовал в струящейся сверху тепловатой воде мерзостно-шелковистые, мягкие прикосновения склизких и дряблых тел.

Нас привезли в местечко Добрин. Но ничего доброго нас здесь не ждало. Мы должны были рыть осушительные канавы. Главный широкий ров, в который стекали маленькие канавки, немцы называли «канал».

Раньше я никогда не работал физически, теперь же, когда от истощения я еле держался на ногах, мне казалось, я не вынесу и нескольких часов мучительной усталости. Я и потом не мог привыкнуть к бесконечному длению дня тяжелого постылого труда, но эти первые проклятые месяцы были каторжной мукой. Солнце стояло в небе беспощадно-неподвижно, и я ненавидел эти светлые, долго не заходящие летние дни и голубой простор немеркнущего лета, беспредельно и широко раскинувшегося над плоской поморской равниной.

— Schön, klar! — говорит вахман, подняв голову и вдыхая воздух полной грудью.

«Правда, как светло», — думаю я. И тогда я вспоминаю,

как прекрасен божий мир, и жадно до боли вглядываюсь в облака. Клубясь, переходя одно в другое, они проплывали в воздушной бездне, оставляя легкие редующие клочья, таявшие и вышине. Но странно, я сейчас же чувствовал утомление. Это далекое небо, недостижимо высокое и прекрасное, оставалось вне меня, вечный покой его существования не избавлял меня от боли, и я продолжал испытывать только люто сосущий голод и страшную ломоту во всем теле. И в отчаянье думал: солнце стоит высоко, еще долгие, долгие часы будет длиться эта мука.

Теперь, когда я смотрел вокруг себя, меня занимало только одно: что можно извлечь съедобного из того, что я видел. Только эта сторона вещей открывалась моему сознанию. Я смотрел на золотую рожь, но не думал о том, как она красива. Я только рассчитывал как бы ухитриться и потихоньку, чтобы не заметил вахман, нарвать колосьев. Мы растирали их в ладонях и ели твердые, зеленовато-серые зерна. Среди всякой ненужной травы я научился различать листья поповагуменца, их можно было есть как салат, хотя без приправы они были очень горькими. Потом поспела картошка. Мы ели ее сырой. Она была твердой и противной на вкус, и мы почти все страдали поносом.

Вокруг в полях были разбросаны усадьбы «бауров». Около плетня одного двора, совсем близко от канала лежалдохлый теленок. Он был весь как игрушечный, с точеной маленькой головой, с обозначившимися уже бугорками на лбу. Он мне казался таким новеньким со своей чистенькой белой с черным шерсткой, так искусно сработанным, пасхально-сахарным, и меня неотступно соблазняла мысль, как бы хорошо было его съесть. Два дня мы спорили. Итальянец мясник, лаская замаслившимися взглядом труп теленка, уверял, что если его хорошенько зажарить, совсем не будет слышно запаха. Но другие товарищи, показывая на мух, жужжа копошившихся в шкуре падали, называли нас сумасшедшими.

Из труб крестьянских домиков, прозрачно дрожа в хрустальной неподвижности воздуха, подымались светлые дымки.

## Н о в о с е л ь е

Я думал: это жены бауров пекут хлеб. С необыкновенной живостью я воображал, как они вынимают из печи деревянными лопатками большие и тяжелые, с коричневой, точно слегка лакированной коркой, чудно пахнущие горячие хлеба. И мне представлялось высшим счастьем — большего не может быть на свете — пожить месяц в таком домике, ничего не делая и только с утра до вечера есть этот ситный хлеб и пить молоко.

Иногда мне чудилось что-то знакомое в бескрайно простирившейся равнине, пересекаемой вдали синеющими перелесками, и смотря в сторону близкой польской границы, я думал: там за Польшей уже Россия. Как странно, двадцать лет тому назад я уезжал оттуда на Запад, а теперь возвращался. Но путешествие прервалось, вся моя жизнь остановилась как заколдованная, и я был рабом в Померании, может быть навсегда.

Казалось, день никогда не кончится и все-таки — меня это почти удивляло — наступал вечер. Я видел, как прозрачно было небо, сначала зеленое, розовое, потом меркнувшее, как оно отражалось в придорожной луже и как менялся в этой луже цвет воды. Где-то за краем сознания моя душа воспринимала величие этого зрелища и с чувством сожаления и щемящей грусти я думал, что пропускаю, не могу удержать видение прекрасного, но у меня не было сил. Мое раздавленное усталостью тело все заслоняло, и я только ждал мгновения, когда шахтмейстер скажет наконец «Feierabend», и вахман засвистит отбой. Эти последние минуты перед «шабашкой» тянулись, как томительная вечность.

Ложась спать, я чувствовал такое отчаянье от неутраченного голода, что мне хотелось плакать. Многие товарищи уже получали из дому продовольственные посылки, а мне все еще ничего не присылали. И тогда я начинал думать о тех, кто мог бы мне прислать посылку, не понимая, почему они этого не делают. Я вызывал в памяти друзей и знакомых, какими я знал их в жизни, но теперь их образ соединялся с

коробками консервов, кругами колбасы, шоколадом и пряниками.

Потом я вспоминал, что может быть нужно молиться, и говорил: Боже, неужели тебе не жалко меня, разве ты не видишь, как я мучаюсь от голода. Я знаю, что это малодушно, что надо покорно принимать страдания и нельзя просить об удовлетворении своих желаний, но мне так хочется есть. Сжался надо мной, прости мне мою слабость, пошли мне еду, сделай это, и ты увидишь, каким я стану хорошим, как я исправлюсь, не буду больше думать только о себе, а буду стараться делать добро другим людям.

В эти мгновения я вовсе не думал о том, есть ли Бог, как вообще не ставил себе метафизических вопросов, прежде так мучивших мое сознание. Я ощущал одно: мне нужно есть, в этом была вся жизнь. Я мог надеяться только на сверхъестественную помощь. Если даже в мире, познаваемом разумом, нет всемогущего существа, все-таки моя мольба должна быть исполнена, — думал я, нисколько не смущаясь противоречивостью этих двух исключających друг друга представлений, а наоборот, точно радуясь их несовместимости и желая, чтобы несмотря на это, каждое из них было правдой. Я вспоминал, что читал и слышал о том, что все, чего человек действительно хочет и о чем мечтает со всей силой воображения, исполняется. Я представлял себе разверстое небо и в нем кого-то, не имеющего определенного образа. Мне мерещился только глаз, как в церквах, всевидящее око в треугольнике. Это был Бог. Он смотрит вниз на землю, и я делаю страшное усилие, чтобы вообразить, утвердить и остановить на мне луч света, идущий от его глаза. Вот он видит, как в смраде и темноте нашей тесной комнаты я лежу на полу, на гнилой соломе под двухъярусными нарами, на которых спят тяжелым сном мои товарищи. И когда его взгляд меня находит, я стараюсь, с таким напряжением, что у меня выступают на глазах слезы, представить, как ему становится жалко меня, и он соглашается исполнить мое желание: завтра придет посылка или каким-ни-

## Н о в о с е л ь е

будь другим способом, неожиданным и чудесным, я смогу насытиться.

С этими мыслями я засыпал, но как только проваливался в сон, я снова начинал нагружать лопатой землю на телегу. Напрасно я говорил себе, что не должен этого делать, теперь ночь, отдых, даже немцы не заставляют меня работать, я могу спать и видеть сны о чем хочу, но я все продолжал накладывать на телегу комья земли, всю ночь, без передышки, до самой побудки. И так же всю ночь сквозь сон я продолжал безостановочно со сладострастием расчесывать ногтями кожу на всем теле, горящую нестерпимым зудом, хотя у меня было гораздо меньше вшей, чем у других товарищей.

Иногда мне снилось, что я рою канал, но только его скаты и дно не из земли, а из коричневого медового пряника. Я втыкаю заступ в эту пряничную землю и могу есть ее сколько захочу, но почему то не ем, хотя не могу понять, что мне мешает.

Только один сон я любил, но он редко мне снился. Я хожу по Парижу, с волнением узнавая знакомые улицы. Я только не могу вспомнить их названия. Но вот я вспоминаю: это улица Святого Жака, длинная и тесная. Я знаю, здесь должна быть кондитерская, а дальше на углу еще другая. В витринах пирожные, сладкие пироги, плитки шоколада. Странно, я в штатском платье, и у меня есть деньги. Засунув руку в карман, я перебираю скомканные шершавые бумажки и тяжелую горстку металлических монет. Как необыкновенно чувство бесплотной легкости во всем теле, как сказочно все это: быть свободным и иметь деньги, на которые можно купить еду. Я могу войти в кондитерскую и есть пирожные. Но что-то, чего я не в силах вспомнить, этому мешает. Что же это? Оно все время присутствует в моем сознании, вертится на кончике языка. Это что-то печальное как смерть, и я все стараюсь и не могу вспомнить. А улица Святого Жака уже меняется, я не могу остановить ее превращения, она уже чужая, с враждебно высющимися домами, незнакомая улица, и все вокруг

так печально. Всю ночь я ищу в тревоге и не нахожу забытую дорогу в ту часть города, где кондитерская, где я был счастлив, и несмотря на радость быть опять в Париже, мне грустно, но в этой грусти какая-то тайная горькая услада.

---

Шахтмейстер Франк был уже немолодой, но еще крепкий, жилистый, рыжеватый человек в зеленом егерском костюме и тирольской шляпе с помазком. Он знал по французски «мусье» и «мадам» и очень любил употреблять эти слова. Держался он очень прямо, а когда брал в свои длинные цепкие руки кирку, было видно, что у него широкие плечи и спина, и что это еще очень сильный человек, с хорошо развитыми выпуклыми мышцами, необыкновенно выносливый и упорный в работе. Но когда он садился, то вдруг казался страшно дряхлым, и все его опустившееся тело напоминало скелет, из которого только высывалась по черепашии ископаемо-морщинистая шея; она, почти не утолщаясь, переходила в мертвое и обглоданное как череп мумии лицо, со странно веселыми малюсенькими глазками и плотоядным ртом.

Таким я застал его, когда товарищи послали меня на кухню с жалобой на слишком жидкий суп. Нашим продовольствием заведывала жена Франка, еще молодая жирная женщина с красным, лоснистым, плоско-круглым лицом, с необыкновенно коротким носом. Она кормила домашними обедами немецкостоловников, но мы не получали даже тех нескольких кружочков кровяной колбасы и крохотных кусочков маргарина, которые нам давали в лагере.

Когда я вошел, Франк читал газету. Дрогнувшим от волнения голосом — мне показалось даже, глаза у него увлажнились — он, хлопнув ладонью по столу, с убеждением сказал:

— Вот, наш фюрер говорит, что в эту войну никто не должен обогащаться.

Фрау Франк подошла к нему и провела рукой по его

## Н о в о с е л ь е

седеющим волосам с растроганной и слегка насмешливой улыбкой, подчеркивающей, что она понимает неисправимую детскую восторженность мужа.

Заметив меня, Франк повернул ко мне лицо, и его маленькие глаза засветились:

— Ну-с, мусье, чего вы хотите?

Я передал ему жалобу товарищей: суп как вода, и слишком мало хлеба.

С неожиданной для меня восторженностью Франк всплеснул руками и чуть не плача от веселья, с обезьяньей размашистостью раскачиваясь на стуле и то складываясь, то снова распрямляясь, стал объяснять мне, с таким видом, словно сообщал что-то радостное для нас всех, что наоборот, до сих пор он слишком много отпуская нам хлеба, а теперь должен будет давать меньше.

— Вот столько! — показал он, сложив щепотью большой и указательный пальцы. Он смотрел на эту изображаемую его пальцами, ужаснувшую меня, почти вдвое против прежнего уменьшенную порцию, с таким растроганным выражением, точно его самого удивляло и восхищало, до чего тоненькие будут теперь ломти; и все его лицо, лучась морщинками, светлело улыбкой умиления и радости.

---

Последствием моего ходатайства было то, что капрал Кох стал особенно следить за мной во время работы, и как только я останавливался передохнуть, кричал:

— Los, Mensch! Arbeit!

Он уверял, что маленький ребенок сработает больше, чем я. Раз он даже снял с плеча винтовку и прицелился в меня, делая вид, что хочет выстрелить. Но он ни разу меня не ударил. Мои очки и то, что я один из всех товарищей понимал по немецки, видимо, внушали ему необъяснимое уважение, хотя и смешанное с презрением.

— Professor, Brotfresser! — говорил он про меня, задумчиво и неодобрительно качая головой.

Он был неказистый собою человек с тупым выражением на деревянном солдатском лице с глазами на выкате и скобленными до лоска маслаками. Только в пьяном виде он становился по настоящему опасен. Тогда он ходил вдоль канала, надоедая всем своими криками «Arbeit», и бессмысленными распоряжениями. Вдруг ему приходило в голову, что мы роем канал не так, как надо, и он начинал уговаривать товарища, стоявшего по близости, взять другое направление. Показывая на колышки, вбитые в землю Франком, товарищ, волнуясь, размахивая руками и пожимая плечами, говорил:

— Контрметр, Франк, контрметр.

— Франк? — спрашивал Кох, вдруг бледнея и угрожающе надвигаясь на товарища грудью. — Г... Франк. Я сам себе шахтмейстер, я здесь хозяин, я приказываю! — кричал он, все более и более возбуждаясь. В упоении начальнического гнева, задыхаясь, с ключьями пены в углах рта, он, сняв с плеча карабин, бил товарища прикладом.

Но на следующий день он приходил на работу молчаливый и угрюмый, и ни на что не обращая внимания, сидел на берегу канала, положив карабин на колени и уныло уставившись в пространство пустым безучастным взглядом. А когда кто-нибудь из «цивильных» немцев пытался с ним заговорить, он только вздыхал и качая головой, мрачно бормотал: «Alles Scheiss! Я даже раз слышал, как он сказал: «Krieg Scheiss!»

В один из таких его «смирных» дней, товарищи стали просить меня узнать, не может ли он купить нам папирос. Долго не понимая, о чем я прошу, Кох с грозным удивлением смотрел на меня своими мутными и неподвижными глазами. Я видел, как медленно доходит до его сознания значение того, что я говорил, Но к моему удивлению он согласился.

Волнуясь и возбужденно переговариваясь, мы стали считать деньги. Стоявший тут же высокий худой немец из «ци-

## Н о в о с е л ь е

вилей», растроганно улыбаясь, сказал, качая головой: *Агте Gefangene*».

Я мельком на него взглянул. У него было очень некрасивое длинное лицо, все в бледных рябинах, с толстыми грубыми морщинами, слепыми из-за длинных белесых ресниц глазами и рыжими косматыми бровями, насупленными над большим носом с горбатым хрящом.

У меня не было ни одного пфенига. Я стал умолять товарища, прозванного Крысой, дать мне взаймы марку. Крыса чуть не плача, говорил, что это не его деньги. Я все упрашивал, испытывая отчаянье от мысли, что я пропущу такой счастливый, единственный случай. Мне так хотелось курить.

Но и в волнении спора я чувствовал, как высокий немец смотрит на нас, внимательно прислушиваясь. Он видимо силился вникнуть в непонятные ему звуки чуждой речи и догадаться, о чем мы говорили. И вдруг, поняв, просветлев лицом, он откинул голову и спросил меня с какой-то радостной решительностью:

— А почему вы не хотите взять у меня?

Он протягивал мне марку.

Я удивленно на него взглянул. Мне было странно: немец предлагает мне деньги. Он смотрел на меня с ласковым достоинством, слегка торжественно, и все его некрасивое лицо было освещено изнутри гордым и добрым выражением.

- *Verboten*, — недовольно сказал Кох.

---

Высокого немца звали Вицке. Наша дружба особенно прочилась, когда он узнал, что я понимаю по английски. Теперь, приходя на работу, он прежде всего направлялся к нам, весело спрашивая:

— А где здесь инглишмен?

Я только читал по английски, но говорил очень плохо, и все-таки мне казалось, что я не узнаю английских слов в его произношении; повидимому, за двадцать с лишним лет

он совсем забыл по английски, с трудом подыскивал слова и произносил их как немецкие.

Я сказал ему:

— По английски легко читать, а говорить трудно.

— Ах нет, как раз наоборот, говорить легко, а читать трудно, — ответил он убежденно.

В ту войну он был в плену в Англии. Однажды он показал мне фотографию: верхом на лошади мальчик в картузике с пуговкой и в куртке с вензелем на грудном кармане.

— Это ваш сын, он жокей? — спросил я, хотя костюм мальчика смутно мне напоминал что-то чуждое здешней жизни, не немецкое. Вицке долго не понимал моего вопроса, смотрел на меня с удивлением и все старался мне что-то объяснить. И вдруг я понял: этот мальчик был вовсе не его сын, у него не было детей, а сын английского фермера, у которого он работал, когда был военнопленным в Англии.

По его словам выходило, что этот фермер и его жена были добрые, справедливые люди и хорошо его кормили.

— Ну, а они были довольны вами? — спросил я с любопытством.

— Ах, как довольны! — сказал Вицке, и по растроганному задумчивому выражению его лица я с удивлением заметил, что он вспоминал о своем пребывании в Англии, как о чем то может быть самом лучшем, что было в его жизни.

Я спросил его, почему, хотя я учился немецкому и могу объясняться с шахтмейстером, мне так трудно его понимать, особенно, когда он говорит с другими немцами. Он улыбнулся:

— Вы учили «Hochdeutsch», а мы говорим на «Platt». На «Hochdeutsch» говорят только «большие» в городе (Die Grossen in der Stadt).

Это было время когда после разгрома Франции начались ежедневные воздушные налеты на Лондон. Возбужденно, с похотливо бегающими глазами, с трудом сдерживая торжествующие улыбки, немцы говорили о наступлении.

## Н о в о с е л ь е

Кох был особенно потрясен сознанием немецкого могущества:

- Польша капут!
- Норвегия капут!
- Голландия капут!
- Бельгия капут!
- Франция капут!
- Лондон капут!

— Alles Karuttmachen! — кричал он, охваченный неизъяснимым восторгом; размахивая кулаком, чтобы показать, как бомбы падают на Лондон, он говорил: «бум, бум!» и торжественно разражался раскатами бессмысленного хохота.

Слушая эти разговоры, Вицке хмуро молчал, потупившись, и на его прозрачно-бледном с опущенными веками лице появлялось неодобрительное, непроницаемо-замкнутое и печальное выражение. А когда я спрашивал его о военных слухах, он отводил глаза в сторону и уныло говорил: «Ich weiss nicht».

Однажды, видимо желая, чтобы я хорошо его понял, смотря мне в глаза и медленно, внятно выговаривая, он сказал:

— Ты не думай, когда в ту войну я был солдатом, я не убил ни одного француза, ни русского, ни англичанина. Я всегда стрелял в воздух. Все мы одинаковые люди, это только «большим» нужна война.

Он уже давно говорил мне ты и просил, чтобы я тоже обращался к нему на ты:

— Что с того, что я немец, а ты француз, пленный. Я такой же бедный рабочий человек, как ты. Мне все равно, что нам запрещают с вами разговаривать. Для меня пленные такие же люди, как мы.

Я скоро заметил, что он работал через силу. Смотря на его узкую сутулую спину, когда он замахивался киркою, расставив худые выгнутые ноги в заплатанных портках, жалко обвисавших на плоских ягодицах, я чувствовал, что только с детства приобретенное умение трудиться не торопясь и не делая лишних усилий, позволяло ему справляться с работой.

Он даже ходил с усилием, раскоряченной походкой кавалеристов и проститутток, медленно переставляя свои длинные ноги.

— Müde? — спрашивал я.

— Müde, — говорил он, печально и просто смотря мне в лицо.

Я хотел выпытать у него, стало ли при Гитлере рабочим людям жить лучше, чем прежде. Он мне только ответил: «богатые остались богатыми, а бедные бедными», но больше ничего не хотел сказать.

Вообще он мало и неохотно говорил, но очень любил, когда ему рассказывали о Франции, расспрашивая, что каждый из нас делал дома, женат ли, имеет ли детей. Когда товарищи показывали ему свои семейные карточки, он долго и внимательно их рассматривал, осведомляясь об отношениях родства между всеми снятыми на фотографиях мужчинами и детьми. Детей он всегда находил красивыми, и по улыбке, морщившей его губы, я видел, что ему доставляло удовольствие думать, что у каждого из нас была дома хорошая счастливая жизнь среди любящих нас людей.

Один из товарищей, рыбный торговец из Булони, набожный католик, попросил меня узнать у Вицке, какого он вероисповедания: католик или протестант. Вицке посмотрел на него с любопытством и покачав головой, ответил:

— Я лютеранин, но не хожу в церковь.

С моей всегдашней бессознательной боязнью разговоров, могущих привести к спорам и вражде, я примирительно сказал:

— Единственная религия — это стараться быть добрым к другим людям.

Это было одно из где-то прочитанных или слышанных изречений, которые болтались на поверхности моего сознания, попав туда в готовом виде, но о значении которого я никогда по настоящему не задумывался. Я произнес это произвольно и безразлично, как при встречах со знакомыми спрашивал: «Как вы поживаете?»

Но на Вицке мои слова произвели необыкновенное впечатление. По тому, как он вдруг оживился, я почувствовал,

## Н о в о с е л ь е

что они отвечали самому глубокому и заветному его убеждению, которое он не умел до сих пор выразить. Все его лицо осветилось одобрением, и ласково мне улыбаясь, он сказал:

— Вот, вот, это самое главное, а там католик или лютеранин, не все ли равно. Мы, маленькие неученые люди, не можем даже в этом разобраться.

Только раз я видел его рассерженным. Мы шли на работу. Немецкие мальчишки стали бросать в нас камнями, и вдруг Вицке пошел на них, что-то громко и сердито крича, задыхаясь и угрожающе размахивая своими длинными руками. Мальчишки отбежали за угол и смотрели на него оттуда, стараясь сохранить вызывающее выражение, но лица у них были испуганные и бледные.

— Was ist los? — недовольно спросил шедший сзади Кох.

---

На соседнем лугу мальчик поляк пас стадо коров. Ему было лет двенадцать, он был стройный, с детски-мягкими и круглыми плечиками; все его тело под черными как на пугалах лохмотьями казалось еще не затвердевшим, еще послушным вечно-подвижному началу жизни. Когда мелькая своей русой головой, он гонял коров, зашедших в рожь, или играл с собакой, что-то славное, смышленно-шустрое и в то же время мужественное было в открытом взгляде его серых глаз.

Подойдя к краю канала и смотря на нас с жалостью и страхом, но не в силах скрыть оживленный блеск глаз, он спросил: «Quelle heure est-il?» и любуясь произведенным его словами впечатлением, звонко рассмеялся. Обрадовавшись, товарищи стали спрашивать, где он научился по французски. Но «который час?» было все, что он знал. Я один мог с ним объясниться, так как к моему удивлению, я почти все понимал, когда поляки говорили медленно. Я стал расспрашивать мальчика о военных слухах. Он с убеждением заявил, что

немцев всюду бьют, и война скоро кончится. Все это было далеко от действительности, но мне нравилась его непоколебимая уверенность, что немцы будут побеждены. Я сказал ему:

— Англичане опять бомбили Берлин!

Он кивнул головой, точно все это было хорошо ему известно и нахмурившись, добавил дрогнувшим от злобы и обиды голосом: — И правильно, как они у нас все разбили, так и им надо сделать.

Вицке, с любопытством слушавший наш разговор, стал его расспрашивать, откуда он.

— Оттуда, — показал он рукой в сторону польской границы.

— Да как же ты сюда попал? — спросил Вицке, добродушно улыбаясь.

— А так. Пришли ночью, отца взяли, а нас посадили на телегу и привезли сюда, — сказал мальчик твердо и без возмущения, как говорят о стихийных бедствиях. Но по тому, как он отвернулся, стиснув зубы и странно шевеля бровями, я видел, что он делает усилие, чтобы не заплакать.

Вицке покачал головой с тем недовольным осуждающим выражением, которое появлялось у него всякий раз, когда при нем говорили о войне и немецких победах.

— Что, твой отец у баура работал? — спросил он сочувственно.

— Нет, он сам был баур, — гордо ответил мальчик.

— Wie gross?

— Zwei Pferde.

— Kleiner Bauer, — сказал Вицке одобрительно: ему видимо нравилось, что отец мальчика был «маленький» баур, свой брат, бедный рабочий человек.

— А кто же теперь дома работает?

— Наш двор немцам отдали. Все как есть: дом, землю, коней, орудия. Нам даже взять ничего не позволили, — и опять показывая на восток: — Dort alle Polen Kaputt.

— Да как же ты живешь теперь? — спросил Вицке с участием.

## Н о в о с е л ь е

— Was machen? — сказал мальчик, подымая голову и смотря Вицке в лицо. Бестрепетный взгляд его был уже не детский, а человека, знающего жестокую правду жизни.

Но как только Вицке отошел, его глаза опять заискрились. Он внезапно бросился ко мне и обхватив меня руками за плечи, стал прыгать, весело меня тормоша.

— Ты не бойся этого немца, он добрый, — сказал я ему.

Лицо мальчика опять приняло жесткое, упорное выражение.

— Они все добрые! — усмехнулся он злобно и недоверчиво.

Каждый день он отдавал свой завтрак кому-нибудь из французов. Он клал хлеб под кустом, а француз, делая вид, что идет за нуждой, выкарабкивался со дна канала, садился под куст орлом и прятал хлеб в карман куртки.

Но несмотря на эти предостережения, Франк скоро все заметил.

---

К каналу подъехал небольшой серый автомобиль. Из него вылез Бубуль, а за ним другой немец, оказавшийся, когда он выпрямился, таким огромным, что было непонятно, как он поместился в таком маленьком, чуть ли не игрушечном автомобиле.

Бубуль был начальником всех дренажных работ в округе. Толстенький, подвижный человек с круглым лицом. Товарищи прозвали его «Бубуль». Приехавший с ним высокий немец, судя по тому, как Бубуль суетился вокруг него, был, видно, еще более важным лицом. Они шли по краю рва, и Бубуль что-то говорил, показывая на окрестные поля, полого спускающиеся к каналу. Высокий молча слушал, изредка кивая головой. Он смотрел себе под ноги, но вдруг, вращая глазами, быстро бросал в сторону беспокойный и мнительный, как у сумасшедших, взгляд, и его налитое кровью лицо с бульдожьими щеками имело напряженное, яростное и в то же время

застенчивое выражение. На нем был непромокаемый плащ, складками спадающий с широких плеч.

Навстречу им, держа руки по швам и вобрав живот, шел в своем зеленом егерском костюме Франк. Он весь казался литым и двигался по черной земле, как заводная игрушка, равномерно подымая ноги в высоких с блестящими твердыми голенищами сапогах, вытягивая носки и отчетливо — раз! раз! — «печатая» шаг.

Он остановился неподалеку от приезжих и замер, как вкопанный, напряженно вытянувшись и почтительно по косой линии клонясь вперед всем телом. Я подумал, что он не сможет и несколько секунд сохранить равновесие, но он стоял неподвижно, и ни одна мышца не шевелилась на его одеревеневшем лице.

Не подавая ему руки, Бубуль стал у него что-то спрашивать и обращаясь к высокому, пояснял слова Франка, точно тот говорил не по немецки, а на каком-то языке дикарей, непонятном такой высокопоставленной особе.

Я видел, как Франк, что-то докладывая, показал рукой на луг, где мальчик поляк пас стадо, и слышал, как Бубуль, обращаясь к высокому, громко и недовольно проговорил: «эти вахманы ничего не хотят делать», и повернувшись к Франку, велел позвать начальника караула. Франк протяжно закричал: «Унтер-офицер Бёзе!»

Бёзе только что вернулся с фермы фрау Засс и по серой бледности, покрывавшей его лицо, было видно: он опасался, что начальство заметило его отлучку.

Бёзе мы не любили и боялись больше всех других вахманов. Он был или во всяком случае хотел казаться одним из тех «честных служак», вера которых в призвание Германии править миром была основана на глубоком убеждении, что никто лучше немцев не способен создать в мире разумный административный распорядок. Он с педантической любовью писал своим щегольским почерком бесконечные донесения и составлял различные списки: имя, семейное положение, занятие, возраст, сколько у каждого из нас денег, сколько белья и других

## Н о в о с е л ь е

вещей, и все это по много раз, для разных отделов лагерного управления. Он разработал подробнейшее расписание нашего дня, вплоть до того, когда и сколько минут мы должны чистить обувь и платье, и строго следил за неукоснительным выполнением этого расписания. Вначале он было распорядился, чтобы мы ходили оправляться в одно время, но мы почти все страдали поносом, и эта мера оказалась неосуществимой. Когда же из лагеря пришло предписание не препятствовать проявлениям религиозной жизни, он стал требовать, чтоб по воскресеньям перед обедом мы сидели пять минут, опустив голову и сложив ладони.

Он один из всех вахманов говорил нам «вы», словно желая подчеркнуть своей холодной бесстрастной вежливостью, что между нами не может быть никаких других отношений, кроме предписываемых уставом, и что он руководствуется только требованиями исполняемой им должности, не позволяя себе поддаваться никаким непосредственным личным чувствам.

Несмотря на эту вежливость, он казался мне самым опасным из всех немцев. Я знал от поляков, что он член партии, в начале войны служил полицейским в соседнем селе и бил польских женщин по щекам. Поляки особенно его ненавидели: он делал вид, что не понимает по польски, а сам был родом кашуб и только с приходом Гитлера к власти переименовал свою польскую фамилию на теперешнюю.

Я присматривался к нему с тем смешанным чувством страха и любопытства, с каким смотрел в зверинце на хищных животных, думая, что бы произошло, еслибы исчезли прутья клетки. А между нами и Бёзе ограды не было, и я всегда в его присутствии испытывал неприятное чувство опасности.

Это был невысокий, плотный человек с затылком циркового борца. У него было смуглое лицо, но не бронзовое, как у южан, а серого землистого оттенка. Продолговатые и широко расставленные глаза смотрели нагло и мрачно, и в то же время с каким-то беспокойным и самолюбиво-оскорбленным выражением.

Мне доставило теперь злорадное удовольствие видеть,

как этот самоуверенный сорокапятилетний человек, стараясь скрыть испуг и сохранить осанку, и в то же время робея, как провинившийся школьник, рысью подбегал к начальству.

Не добежав нескольких шагов, он остановился и так же как Франк врос в землю, уставившись в лицо Бубуля и высокого инспектора немигающим взглядом напряженно-выпученных глаз, словно стремящихся перескочить в душу начальства.

— Вы старший? — спросил Бубуль недовольно и высокомерно. — Поляки дают пленным хлеб и рассказывают небылицы, а вы чего смотрите?

От оскорбления лицо Бёзе покрылось еще большей бледностью, но он сделал над собою усилие и твердым голосом, отчеканивая каждое слово и в то же время почтительно давая понять, что он вполне разделяет недовольство начальства и только ищет случая доказать свое усердие, сказал:

— Нас всего четыре вахмана, а вспомогательный гражданский вахман Вицке позволяет делать пленным и полякам все, что им угодно.

Бубуль с довольной улыбкой посмотрел на инспектора. Ему видимо понравилась эта солдатская готовность, но повернувшись к Бёзе, он опять сделал строгое лицо.

— Одного вахмана на каждых десятих пленных вполне достаточно. Не забывайте, нам солдаты нужны на фронте. Война еще не кончена, — сказал он с насмешливым презрением.

Бёзе начал было объяснять положение, но Бубуль брезгливо крикнув: «кругом!», отвернулся от него и стал что-то оживленно говорить большому немцу.

Шаркая ногами по траве, они пошли через луг к оставленному на дороге автомобилю. Франк, все продолжая держать руки по швам, последовал за ними. Они остановились около поляка пастушка. Я видел как Бубуль что-то строго ему выговаривал, но мальчик, подняв голову, смотрел ему в глаза без страха и отвечал с таким открытым и самостоятельным выражением на своем умном личике, что даже Бубуль не мог удержаться от улыбки. Он только погрозил тем особым

## Н о в о с е л ь е

движением руки, которым немцы хотят показать, что кого-нибудь нужно выпороть.

Забежав вперед, Франк открыл дверцу автомобиля. Согнувшись, с трудом пролезая внутрь, огромный инспектор сказал: «Vielen Dank, vielen Dank». Это были кажется единственные слова, произнесенные им за все время.

---

В перерыве на завтрак Вицке по своему обыкновению не пошел к другим немцам, а сел на землю тут же, где работал. Он вынул завернутый в газету хлеб и отрезая перочинным ножиком маленькие кусочки, стал есть с усталым и безучастным видом.

Невольно я все взглядывал на его медленно жующий рот. Я знал, что он всегда отдает часть своего хлеба кому-нибудь из французов — соседей по работе. По другую сторону от Вицке на скате канала как стервятник сидел на корточках товарищ фламандец. Он смотрел в рот Вицке с бесстыдной собачьей мольбой, и я ломал себе голову, кому Вицке даст хлеб: ему или мне.

Вицке сделал знак, и фламандец поспешно к нему подошел. Вицке дал ему пол-ломтя, намазанного сырцовым салом. Фламандец отошел и сев на свое место, принялся есть. Я видел, как двигались его челюсти и вдруг меня поразило, что эти плотоядные сильные челюсти были самой выдающейся подробностью его лица, а все остальное — лоб, нос, смотревшие вовнутрь, не имевшие теперь никакого выражения глаза — только надстройкой. Следя, как двигалось его горло, заглатывая разжеванные куски, я почувствовал, как они проходят вниз по пищеводу и мне представилось, что это и было все его существо: пищевод как червь с отверстием глотки в верхнем конце и анальным отверстием внизу, а грудная клетка, руки, ноги, голова только вспомогательные придатки. Мне даже показалось странным, как прежде я не замечал этого, и несмотря на острое чувство голода и на отчаянье, что не мне, а фла-

мандцу Вицке отдал хлеб, я ощутил отвращение к самому себе. Я понимал, что ничем от фламандца не отличаюсь. К горлу подступила тошнота, и поспешно отвернувшись, я стал смотреть в сторону.

Под кустом ракигы сидели Бёзе и неврачный с виду человек в тяжелых вымазанных глиной сапогах, прозванный французами «Зеро».

Бёзе уже кончил закусывать и что-то рассказывал Зеро, чистя ножом яблоко. Это было прекрасное, спелое, желтое с красным, продолговатое яблоко. Я видел его обнажавшуюся крепкую плоть и с необыкновенной живостью представил, как я его надкусываю, его хруст, брызжущий сок и райски-прохладную вязкость на зубах и деснах.

Срезаемая кожура, вздрагивая, свисала все ниже длинной, свивающейся лентой. Я смотрел на нее, как зачарованный, и моя ненависть к Бёзе еще увеличивалась раздражением, что он срезает самую полезную часть плода.

Наконец лента кожуры качнулась и упала на черную вскопанную землю. Я подумал: когда Бёзе встанет, я незаметно подберу ее и съем.

Он резал яблоко, насупив брови и видимо вспоминая историю с пастушком, покачивал головой. Несколько раз со злобой и недоумением он произнес сквозь стиснутые зубы: «поляк». Мне стало совестно, что я хотел есть кожуру после него, но я не мог отвести от нее глаз.

В это время у услышал знакомое глухое покашливание; слабый голос позвал меня по имени. Я знал, что это Вицке; было что-то хорошее и доброе в том, что он меня зовет. Я встал и подошел к нему. Он протягивал мне на ладони маленький кусок хлеба. Чувствуя теплоту в груди и животе и уже протянув руку, я все-таки спросил: «А как же вы сами, это вас не лишит?» Он грустно покачал головой: «Ах, у меня нет аппетита. Мне совсем мало хлеба нужно». У него были бледные десны и зубы как у старой лошади, желтые и стертые.

Я сел около него и стал есть, но все смотрел на кожуру, лежавшую у ног Бёзе. Он доел яблоко и встал. Все с тем же

сумрачным нахмуренным выражением, закидывая за плечи карабин и поправляя пояс, он, переминаясь, все глубже вдавливал своими пудовыми сапогами желто-красные обрезки в черную, рассыпчато-жирную землю. Я подумал, что он опять собирается на ферму фрау Засс. За его спиной Зеро уже многозначительно и насмешливо улыбаясь, переглянулся с другими немцами. Но у Бёзе видно другое было на уме. Переваливаясь при каждом шаге половинками своего тодстого зада, он неторопливо шел к мальчику поляку и по мере того как он к нему приближался, росла грозная тишина. Все следили за ним, не в силах отвести взгляд. Подойдя к мальчику, он что-то сердито у него спросил. Мальчик слегка побледнел, но отвечал ему, не опуская глаз.

— Still stehen! — покрываясь зловещей бледностью, испуганно заорал Бёзе, и тогда мальчик невольно вытянулся, опустив руки. Бёзе наотмашь ударил его ладонью по щеке. Мальчик пошатнулся, голова его мотнулась, но он не закричал, не заплакал, а продолжал, не мигая, смотреть Бёзе прямо в глаза. Меня поразило суровое выражение на его осунувшемся лице.

— Quelle brute! — не выдержав, громко сказал Крыса.

— Was? — грозно обернулся Бёзе. Он все так же неторопливо и тяжело спустился по откосу на дно канала. Молча, опустив веки, он подошел к Крысе и замахнулся. Висящий за спиной карабин ему мешал, но по тому как он медленно отвел назад руку и плечо, я видел, что несмотря на свою силу, он не умеет драться. «Ведь я его побил бы» — подумал я, забывая, что еле держусь на ногах от истощения, но эта мысль доставила мне удовольствие.

Теперь глаза Бёзе открылись. Они бегали с беспокойным и преступным выражением, и все его изуродованное злобой бледное лицо дрожало. Крыса увернулся, и кулак Бёзе ткнул его в плечо. Задыхаясь и все больше бледнея, Бёзе снова

замахнулся и будто плача, всхлипывая и стеноя как женщина, еще несколько раз ударил Крысу. Но Крыса защитил лицо поднятым локтем.

---

Прошло несколько дней. Я видел, что Бёзе не мог забыть унижение выговора, полученного им из-за мальчика поляка. Он уже не старался казаться вежливым и по малейшему поводу орал, заходясь бешеным как рев зверя криком. Одного товарища он так ударил прикладом, что тот упал замертво, и его пришлось отвезти в госпиталь. Мы чувствовали себя спокойно только, когда он уходил на ферму фрау Засс.

Мальчик поляк по прежнему отдавал свой завтрак кому-нибудь из французов, и я боялся, что Бёзе поймает его на этом.

---

Бёзе был одет гораздо лучше других вахманов и очень следил за своей наружностью. В этот день он пришел на работу в новенькой, твердой, с лаковым козырьком фуражке гвардейского образца.

— Ну, ты теперь совсем как офицер, — сказал ему Зеро.

— Что, идет? весело спросил Бёзе, охорашиваясь и оживленно блестя глазами. — Почему только офицерам носить? Чем мы хуже?

Он вынул из кармана коробку дорогих папирос и раскрыв ее, великодушно предложил Зеро. Восхищенно покачивая головой, Зеро осторожно двумя корявыми вымазанными глиной пальцами взял папиросу:

— Откуда у тебя такие?

— Фрау Засс, — сказал Бёзе, усмехаясь и грязно подмигивая.

Зеро опять еще с большим почтением покачал головой.

— Да, с женщинами надо уметь обращаться. Главное..., тогда женщина прямо с ума сходит, все отдаст, — задумчиво улыбаясь своим воспоминаниям, продолжал Бёзе с тонким видом человека, умеющего жить. — Я прямо скажу, я могу еще доставить женщине удовольствие больше, чем другой молодой. Что фрау Засс? Были и другие, высокопоставленные. — Он с важностью помолчал, давая понять, что не все может рассказать.

Зеро слушал с открытым ртом и в знак одобрения только цокал языком. Я знал от других немцев, что у него восемь человек детей и старая злая жена, бывшая его, когда он приходил домой пьяным.

— Ты может думаешь, — продолжал Бёзе, — я всю жизнь в деревне прожил, не умею вилки-ножа держать? Нет, я понимаю обращение. Сама бюргермейстерша говорит, что я очень представительный. А женщины любят видных мужчин. Теперь я похудел, а до войны посмотри каким был. — Он вынул из бумажника фотографическую карточку и протянул ее Зеро.

Был перерыв на завтрак. Шел проливной дождь, и мы укрылись в тесном угольном сарае. Я стоял так близко от Бёзе и Зеро, что видел лицо, изображенное на фотографии. Это был Бёзе в форме S. A., но физиономия у него была вдвое толще и шире чем теперь, совершенно круглая: жирный шар прямо, без признаков шеи, сидевший на покатых плечах. В этом лице, сверх меры раздавшемся в скулах, только с трудом можно было различить теперешние серые отекавшие черты Бёзе.

— Mein richtiges Format, — сказал Бёзе, любясь на карточку. Но заметив, что я тоже смотрю, он злобно нахмурился и бросив на меня мрачный самолюбиво-подозрительный взгляд, сказал, повышая голос: — Так с виду я не очень большой, а силён. Когда служил в полиции, у меня, знаешь, такая резиновая дубинка была. Ударишь раз, — он замахнулся, с мокрым сладострастным вздохом втягивая воздух сквозь стис-

нутые зубы, и словно сам удивляясь, в раздумьи прибавил, — aber ganz Kaputt!

Лицо его все больше мрачнело.

— Мы, немцы, хорошие парни, черезчур добрые. Но если нас заденут, мы умеем ответить. Знаешь, мальчишка поляк, — сказал он почти с недоумением, — ведь он продолжает давать хлеб французам. Я сам сейчас видел. Паршивый народ. Поубивать бы их всех. Только даром немецкий хлеб жрут.

Дождь прошел так же внезапно, как начался. Бёзе вышел из сарая и засвистел. Мы пошли к каналу, вдыхая полной грудью воздух, чудно-свежий и живительный после дождя. Еще падали последние капли, а уже светило солнце и над изумрудными омытыми лугами и золотой нивой, раскинувшись через полнеба, стояла радуга.

Повернувшись спиной и расставив ноги, Бёзе помочился на угол сарая и издал громкий, как треск раздираемого полотна звук.

— Schwein, was ist los? — с шутливой угрозой сказал он Зеро. Но его лицо сохраняло озабоченное выражение.

Поправив за спиной карабин, он пошел через луг в ту сторону, где поляк пастушок пас коров. Мальчик видимо почувствовал опасность. Он смотрел на приближавшегося Бёзе, как смотрит затравленный заяц, соображая куда лучше бежать.

Так он простоял несколько мгновений и вдруг бросился в сторону, к ржаному полю.

Бёзе снял на ходу карабин и щелкнул затвором. Я видел, как Вицке пытался его задержать. Но Бёзе с решительным выражением человека, знающего, что он делает и не допускающего, что кто-нибудь посмеет ему препятствовать, злоратно и презрительно усмехнувшись, отстранил его рукой, и держа карабин на перевес, еще быстрее пошел вперед.

Была странная игра лучей, и хотя луг был освещен солнцем, фигура Бёзе казалась чугуно-черной, обрисованной с необыкновенной отчетливостью.

Внимательно следя глазами за бегущим мальчиком, он

## Н о в о с е л ь е

шел теперь быстро и легко; его сосредоточенное лицо словно помолодело.

— Не может быть, чтоб он хотел пристрелить мальчика, — подумал я. Это было так чудовишно и неправдоподобно, что я не мог этому верить и в то же время я знал, что самое страшное может и должно совершиться. Вся действительность словно потеряла плотность и как в тяжелом сновидении омывалась теперь другим, странным неверным светом: зеленым, черным или красным.

Мальчик бежал, согнувшись, быстро перебирая босыми ногами. Он был уже у самого края большого поля ржи, но мне казалось, что он никогда не добежит, что он не двигается вперед, а только на месте семенит маленькими, страшно утолщенными шажками.

С неожиданной для его грузного тела гибкостью, Бёзе встал на одно колено и прицелился. Меня поразила звериная точность и быстрота его движений. Я слышал, что он был охотником и поставлял дичь генералу, начальнику здешнего военного округа. И мне вспомнилось, как я сам когда-то, давным давно, был на охоте. Я вдруг увидел зайца, легкими скачками бегущего по мокрому жнивью. Стоявший за деревом охотник повел стволом ружья. Выстрел грянул. Заяц сделал, еще скачок, но его вытянутое в воздухе тело странно дернулось, сломалось посередине, передние лапы подвернулись как ватные, он ткнулся мордой в землю и покатился по жнивью. В следующее мгновение он уже неподвижно лежал на боку маленьким серым трупом. Меня поразило, как нечто страшное, необъяснимое, неместимое сознанием, этот мгновенный неправимый переход от стремительного бега к неподвижности смерти, и мне показалось, что внутри меня что-то оборвалось. Я продолжал все видеть и воспринимать, но как будто эта смерть совершилась во мне самом, движение заячьего скака остановилось внутри меня, и теперь вместо него водворились неподвижность и пустота.

«Не может быть, не должно быть, чтобы сейчас это повторилось», подумал я. «Это слишком невероятно и страшно.

Ведь это не заяц, а мальчик, отдававший нам свой хлеб, славный мальчик с живыми, ясными глазами».

Пастух добежал до поля. Высокая рожь, расступившаяся перед ним, опять выпрямилась и сомкнулась. Путь, прокладываемый движением его тела, уже терялся на волнуемой только ветром и проходящими тенями облаков, серебряной поверхности нивы.

Бёзе, держа палец на спуске, зорко всматривался в рожь, стараясь различить исчезающий среди колыхающихся колосьев след мальчика. Я сказал себе с тем усилием, с каким стараешься иногда изменить ход событий страшного сна: он не должен выстрелить, мое сознание, все мое существо не могут этого допустить.

И сейчас же, словно исполняя мою волю, Бёзе встал, разрядил карабин и закинув его за плечо, медленно, в раздумьи вернулся на свое место.

Мы все вздохнули с облегчением, и только теперь я заметил, как побледнели лица моих товарищей, и как с их полуоткрытых губ сходят забывшиеся странные улыбки.

Потом видели, как Бёзе пошел на ферму, где мальчик работал. Товарищи, рывшие канаву около этой фермы, рассказывали вечером, что после прихода Бёзе хозяин-баур бил мальчика так долго и сильно, что сломал у него на спине толстую палку.

Я больше не видел мальчика. Меня перевели на другой далекий участок канала.

Нам казалось, никогда не кончится наша добринская каторга, но, как всему в жизни, пришел конец и дренажным работам. Ударили морозы. Ни заступ, ни кирка больше не брали оледеневшую землю. Нас перевели в соседнее село для работы на фермах. Прощаясь с Вицке, я сказал ему: «Спасибо за все, что вы для нас сделали. Я никогда не забуду вашей доброты». Я не знал, что нас ждет на фермах, но мне не терпелось скорее уехать из проклятого Добрина, я был уже далеко отсюда, существование Вицке больше не занимало моего внимания, направленного на будущее, и я сказал эти обычные слова бла-

## Н о в о с е л ь е

годарности, не думая об их значении. Тем неожиданнее было для меня впечатление, произведенное ими на Вицке. В волнении он только сжимал мою руку своими большими костлявыми руками. Он все силился что-то выговорить, но губы его дрожали и отвернувшись, он махнул рукой. По его морщинистому лицу из выцветших глаз текли светлые прозрачные слезы.

Я встретил его следующей осенью. Мы везли картошку на станцию в Линде. Я сидел с товарищем на прицепке трактора. Когда мы проезжали через Добрин, толкнув меня в бок, товарищ сказал: «Ты не узнаешь, это Вицке!»

И я увидел его. Он стоял у двери маленького в два окна серого домика. Меня поразила болезненная худоба его некрасивого лица и всего его костлявого тела. Или раньше, встречаясь с ним каждый день, я привык к ней, перестал замечать, или она увеличилась с тех пор, но теперь эта страшная худоба прежде всего бросалась в глаза, была г л а в н ы м во всем его облике.

Узнав нас, он ужасно обрадовался и возбужденно размахивая руками и крича, стал подпрыгивать на месте. Его долговязая нескладная фигура нелепо взлетала, и было что-то смешное, жалкое и трогательное в этом выражении радости со стороны старого человека, худого как кляча, которую ведут на живодерню.

Прошел еще год. Мы опять возили картошку. Со станции мы возвращались пешком. При выезде из Добрина мы поравнялись с немецкими рабочими, чинившими щбенку. Они закусывали, сидя на обочине. Вицке сидел в стороне. Меня опять поразила еще увеличившаяся скелетная худоба его сутулой сгорбленной спины и согнутых острыми углами огромных ног. Он медленно жевал хлеб, смотря перед собой безучастным невидящим взлядом. Его лицо было совершенно белым, без кровинки.

Я подошел к нему. Он с трудом поднял голову и посмотрел на меня. На мгновение слабая улыбка появилась на его губах, но сейчас же, словно он вдруг забыл обо мне, его лицо

приняло странное, отсутствующее выражение. Я отпустил его руку. Она тяжело выскользнула из моей разжавшейся ладони и как неживая посторонняя ему вещь легла на траву.

— Совсем плох, грудная болезнь, — показывая на него глазами, с равнодушным видом сказала вахману стоявшая тут же толстая женщина, видимо принесшая Вицке полдник.

Докурив папиросу, недовольный задержкой, вахман крикнул:

— Los, Mensch, es ist bald zwölf!

— Через несколько дней мы снова шли пешком со станции. Те же немцы работали на щебенке. Но Вицке с ними не было. Я спросил у одного из них, это был Зеро: «А где же Вицке, передайте ему от меня привет». Не узнавая меня, Зеро смотрел, озабоченно и недоверчиво улыбаясь. Наконец, он понял, о чем я спрашиваю и обрадовавшись, сказал: «Witzke Kaputt. Tot».

— Когда? — спросил я.

— Вчера похоронили.

## НА БЕРЕГУ

Умолкли волны, заревом свинцовым  
Плывущие к земле издалека,  
И пристально глядит на рыболова  
Худой и угловатый пеликан.

Хрустят песчинки на холмах несчётных,  
И мидии звенят в сухих венках,  
И только невесома и бесплотна  
В предельном ожидании рука.

Звездой медуза плещется в улове  
И, вспыхивая, гаснет под мостом,  
Всклооченные водорослей брови  
Насупились на берегу пустом.

А в вышине гуляет ветер свежий,  
И замирает корабельный гром,  
На тихоокеанском побережьи  
Горит прибой балтийским янтарем.

И реют моря Черного седины  
Средь бурею обрушенных громад,  
И этот мир, в безмолвии единый,  
Одним сияньем вечности объят.

Всё небо застилающим и влажным,  
Остановившимся в последний час  
Сиянием... Но лодочкой бумажной  
Летит в пространство огненный баркас.

Он пущен на стремнины океана,  
Чтоб затеряться в рокоте валов,  
Чтоб раствориться в пене перевозной...

В раздумии глядит на пеликана  
Закатом окропленный рыболов.

## У Т Р О В П А Р К Е

Задрожала сонная глыба,  
И чугун решетки заржал,  
И струя мелькнула, как рыба,  
В голубых зрачках у моржа.

Тонкий голос радостно бляял  
На немой и грустной заре,  
И катали белки в аллее  
Золотой китайский орех.

Появлялась, из-за куста ли,  
Красногрудка в вихре песка,  
И бесшумно ветви листали  
Посветлевшие облака.

Снова голубь немногословный  
Падал вниз с чужой крутизны,  
И шары воздушно и ровно  
Уходили в холод церковный  
Этой синей, легкой весны.

ВАДИМ АНДРЕЕВ

## ПОЭМА О КАМНЕ

Александрю Вадимовичу Андрееву.

### I

Долго угрюмый ледник волочил  
Серый валун по земле одичалой.  
Бросил его и уполз и забыл.  
Небо над мертвым болотом молчало.

Сгусток расплавленной, огненной лавы,  
Жизнь, не заснувшая даже во льду —  
Каменный сторож огромной державы:  
«Здесь я положен, и я не уйду».

### II

Через невские топи торопят коней.  
Убегают на запад. Слепые кольчуги  
Чуть блестят в темноте. «О скорее, скорей,  
Нам не выйти из круга разбуженной выюги.

Ночь прикинулась ведьмой. Она нас задушит.  
Этот снег — словно стрелы — и жалит и жжет».  
Леденеют как в проруби мертвые души:  
Александр, настигая, в погоню идет.

## Ш

Все мхи, да валуны, да мелколесье,  
И жадный всхлип, и хлопанье болот,  
И в серо-синем, в бледном поднебесьи  
Широкий журавлиный перелет.

Его века одели лишаями,  
Стянула раны каменная ржа.  
Он говорил гранитными губами:  
«Я не уйду с родного рубежа».

## IV

Белая ночь на Ивана Купала,  
Белое небо над синей рекой.  
Едет отряд по земле одичалой,  
Конь за конем по земле голубой.

Кто здесь натыкал еловые вехи?  
Длинную просеку кто прорубил?  
Петр к одинокому камню подъехал,  
Горькую трубку свою закурил.

## V

Каменотес взял ржавый молот,  
Зубило сжал мозолистой рукой,  
И звонким стал весенний холод,  
Плывущий над огромною рекой.

Он был положен в край высокой дамбы,  
Туда, где приставали корабли,  
Туда, где сжали каменные ямбы  
Неровный край болотистой земли.

## Н о в о с е л ь е

### VI

Гранитные обтачивая звуки,  
Суровый Ломоносов приходил  
Сюда на берег. Каменные руки  
Уперши в камень, он не находил

Ему потребной фразы. В тишине  
Из-за высоких тростников вставала  
Луна. Ночь бормотала в полусне,  
И каменное сердце трепетало.

### VII

Вдали Адмиралтейская игла  
Сияла, в полумгле не угасая,  
Когда крылаткой славною была  
Озарена его душа ночная.

.....  
.....  
.....  
.....

### VIII

Здесь над Сенатской площадью заря  
Мучительно и долго догорала.  
В кольчуге синих льдин едва дышала  
Нева — в тот долгий вечер декабря.

И в долгий вечер декабря впервые  
Тебя обжег тот непомерный свет,  
Которым — через девяносто лет —  
Весь шар земной расплавил Россия.

## IX

Человека не тронула пуля. Она  
 Обожгла рикошетом гранитное тело.  
 По торцам, пригибаясь, ползла тишина,  
 А беззвучное сердце как солнце горело.

Человек — он погладил ладонью гранит,  
 Посмотрел в темноту, в этот мрак неотвязный:  
 «Ничего, пусть сегодня еще поболит,  
 А уж завтра мы вместе отпразднуем праздник».

## X

Здесь самодержец лед, и Ленинград,  
 Буранами и вьюгами обвитый,  
 Подъемлет к небесам — за рядом ряд —  
 Разрушенных построек сталагмиты.

Но сквозь кольцо блокады ледниковой,  
 Сквозь бред и боль неумолимых мук  
 На всю страну гремит, как жизнь суровый,  
 Как жизнь большой — гранитный сердца стук.

## XI

Не страшась аравийского желтого зноя,  
 Мусульманин к священному камню придет,  
 И остынет в душе беспокойство земное,  
 И высокое счастье звездой расцветет.

Так и тот, кто душой маловерной и слабой  
 Не поверил в Россию и в русский народ,  
 Пусть коснется рукой ленинградской Каабы,  
 У гранитного сердца пусть силы возьмет.

Париж, 1946

## ПРЕСТУПНИК

Да, да. Где волны морские — там бури, где люди — там страсти.

Под старость, конечно, страсти стихают — от усталости, от привычки подавлять их. Но в молодости бороться с ними трудно.

Вовка думать этого не мог, но чувствовал определенно и ясно. Бороться было трудно. Особенно потому, что предмет, возбуждающий его страсть, вертелся под самым его носом по несколько часов в день. Иногда даже снился ночью.

Предмет этот был большой красный карандаш. Внутри он был черный, как самый обыкновенный, но снаружи блестящий, круглый, красный и ужасно большой. Красоты нечеловеческой.

Такой карандаш годится не только для писания, а и для многих других надобностей. Можно его просто катать по полу, можно им стучать по столу, как барабанной палочкой. Да и вообще — быть владельцем такой роскошной, такой огромной красной штуки уже само по себе упоительно.

Классная комната скучная, серенькая; черная доска, седоватая учительница в темном платьишке, замурзанные ребята с грязными лапками — все блеклое, унылое и среди них — он, яркий, блестящий, сверкающий, единственная радость мира. Кра-со-та!

Можно держать себя в руках день, два, три, но не вечно же. Больше выдержать было уже трудно. Как человек по натуре вполне порядочный, Вовка испробовал сначала легальный путь. Нахмурил те места, где у взрослых бывают брови и спросил деловито у хозяина карандаша:

— Это разве твой карандаш?

— Конечно мой, — ответил хозяин и на всякий случай засунул карандаш себе за пазуху.

— У меня был такой же, — вдохновился Вовка. — Это ты верно мой взял.

Но дело не выгорело.

На другой день он переменял тактику.

— Дай мне порисовать твоим карандашом.

Не прошло и это.

После — другого выбора уже не было.

Путь к обладанию желанным предметом оставался один. И путь этот был преступный. Вовка отлично понимал, что совершил преступление, иначе на вопрос матери: «что это за карандаш?», не хмурил бы те места, где у взрослых бывают брови, и не отвечал бы басом:

— Это нам в школе дали.

А потом, чтобы переменить разговор, не стал бы скакать на одной ноге по всей комнате и при этом еще орать во все горло.

Играть карандашом он залезал под диван. Там было спокойнее для преступного наслаждения. Он катал карандаш по полу и тихонечко пел бессловесную песню, не очень музыкальную и всегда вызывавшую громкий окрик:

— Кто там воет под диваном? Если это волк залез, так надо его капканом словить.

Он никогда не писал этим карандашом. Карандаш был ему нужен как красота, а не как польза. Приятно было смотреть на него, вертеть в руках, катать по полу, поглаживать. Но главное любоваться на его чудесный ярко-красный цвет.

Когда старшая сестра, большая шестилетняя Буба дотронулась до этого удивительного предмета, Вовка завизжал как от боли.

— Ты не имеешь права, это мое!

— Я только посмотреть хотела.

— Не имеешь права смотреть, это мое!

Дело с карандашом, пожалуй, так бы и затихло, но такой

## Н о в о с е л ь е

же карандаш, даже лучше, потому что длиннее и новее, оказался еще у одного мальчика.

Тут уж раздумывать было нечего. Коготок увяз, и всей птичке конец.

Под диваном стали кататься два карандаша.

— С моим Вовкой беда, — испуганно рассказывала вовкина мать своей приятельнице. — Вера, милая, по моему он в школе у мальчишек карандаши таскает. И не признается. Как быть? Надо что-то предпринять, а то если пойдет дальше, ведь из него определенный вор выйдет. Что делать?

— Подожди, я попробую, — решила Вера. — У меня он не отвертится. Завтра же приду и поговорю.

— Только ради Бога не очень строго! Он ведь маленький.

— Маленький, но психология уже заправского вора. Катает свои карандаши под диваном. Тут нужно действовать серьезно и скоро.

На другой день веселая и оживленная пришла Вера к приятельнице. Принесла детям конфет.

— Ах, Зиночка, — рассказывала она между прочим, — какой я сегодня видела роскошный карандаш! Совсем красный. Такого нигде ни у кого нет. Ты ведь никогда не видала красного карандаша? Таких ведь больше нет. Мне говорили, что на всю Европу сфабриковали только один.

Пятилетнее сердце не выдержало.

— А у меня есть два. Два! — закричал Вовка. — Вот, смотрите.

Вера посмотрела, полюбовалась и сказала тоном доброго малого:

— Мальчишки еще не заметили, что ты их стащил.

Вовка растерялся, раскрыл рот.

— Ну так я тебе советую, завтра же положи их на место. Прямо каждому в его стол. Понял? А то наверное их родители заявили полиции. Нельзя так долго держать у себя чужие вещи.

— Это ужасно, — вздохнула Буба. — Он наверное не отдаст.

— Ну что ты говоришь! — возмутилась Вера. — Вовка да не отдаст! Он же умный, он понимает, что с полицией шутки плохи.

Вовка молчал и громко сопел. Положение было трудное. Расстаться с карандашами было совершенно невыносимо. Бывают разлуки, которые нельзя вынести. Искалечить свою молодую жизнь! Можно подумать, что так они ему легко достались эти карандаши. Других таких не наживешь. А Буба говорит «не отдаст». Значит надо на зло отдать. Лучше, пожалуй, быть дураком, да с карандашами.

Вовка карандашей не отдал.

А вскоре разыгралась и другая история на ту же тему.

Повели детей в гости к почтенной старухе. Пока мать со старухой беседовала, дети рассматривали карточки в альбоме, потом, как в этом возрасте полагается, начали разглядывать все, что было в комнате. Потрогали вазочку с цветами, перевернули пепельницу. Пепель посыпался на ковер. Струсили, покосились на старуху. Та не заметила. Потом добрались до рабочего ящика. Тут уж пошло раздолье. Чего только не напратала старуха в свой ящик! И тесемки, и катушки, и ленточки, и крюечки, и перламутровые пуговицы, нанизанные на шнурочек, и два наперстка. Был еще и третий наперсток — ужасно странный — без доньшка, и яркого, неповторимо яркого красного цвета. Пришлось примерить его на все пальцы. Очень был интересный наперсток, такого нигде не найдешь. Какая старуха хитрая, завела у себя эдакую прелесть! Прямо не оторваться.

Мать подозвала Бубу прочесть старухе стихи про стрекозу, которой зима катила в глаза. А Вовка все еще любовался наперстком.

На другой день уроков не было, и он с утра залез под диван и катал что-то.

— Что он там катает? — спросила мать у Бубы.

Буба молчала и смотрела очень испуганно.

— Вовка, ты что там катаешь? — спросила мать.

— Старый волчок, — подумав, отвечал Вовка.

## Н о в о с е л ь е

А Буба все молчала и даже прижала руки к груди.

— Чего ты, девочка моя? — спросила мать.

Буба вздохнула дрожащим вздохом и уперлась лбом в плечо матери.

На другой день, когда дети были в школе, мать отодвинула диван. Увидела что-то красненькое, засунутое за галун у диванной ножки. Вытащила, посмотрела. Сразу узнала старухин наперсток, который та надевала на указательный палец левой руки, чтобы не колола иголка.

Вовка украл! Как быть?

Пошла советоваться с Верой.

— Не знаю что придумать. Он слишком мал, чтобы можно было напирать на моральную сторону. Припугнуть что ли, да не знаю как.

— Подожди, — сказала Вера. — Я придумаю, я вечером зайду.

Вечером раздался звонок, да не простой, а три раза подряд.

Вошла Вера, страшно взволнованная.

— Что с тобой?

— Ужасно неприятная история, — отвечала Вера, — представьте себе, что к нашей старухе залезли воры и утащили ее красный наперсток. Она очень испугалась. Потому что воры теперь знают дорогу в ее дом и наверное еще раз залезут. Так вот она дала знать в полицию и там обещали сегодня же найти вора.

Четыре круглых голубых глаза смотрели в ужасе.

— А как же они смогут найти? — прижимая руки к груди, спросила Буба.

— Полиция го? — удивилась Вера наивному вопросу. — Так она выпустит ищеек. Ищейки побегут по следу и живо найдут.

— А-а-а они по лестнице могут? — заикаясь, спросил Вовка.

— Ну конечно. Они же дрессированные.

«Ищейки» было ужасное слово. Конечно, это просто со-

баки, но какие то узкие, мягкие, морды острые, длинные, извиваются и всюду пролезут.

— А-а-а как же они...

— Их привели к старухе, они все обнюхали и сразу побежали по следу.

— Уже бегут! — задохнулась Буба. Господи! Надо признаться! Надо признаться!

— Конечно, если вор признается раньше, чем ищейки его найдут, и вернет наперсток, то дело пойдет к прекращению. А иначе — ужас.

— Что иначе? — прошептал Вовка.

— Разве ты не знаешь? — удивилась Вера. — Ищейки отгрызают вору все пальцы, один за другим. Так и слышно хруп-хруп.

— Только кончики? — дрожа от отчаяния и надежды, спросил Вовка.

— Какое там! Станут они церемониться! Все пальцы. Целиком.

— А-а-а они уже бегут? — побелевшими губами спросил Вовка.

И с последней надеждой:

— А кто же им откроет дверь?

— Полицейские. Полицейские бегут за ними. Они и открывают.

— Надо признаться! — закричала Буба, обняла Вовку и с визгом заплакала.

— Мамочка, мамочка!

Вовка от ужаса затопал ногами.

— Мамочка, я ужасный вор! Я прельстился красненьким! Мать дернула Веру за платье.

— Ну что ты наделала! — шепнула она с укором. — Нельзя же так. Всею мера.

— Мамочка! Беги к телефону! Скажи, что вор возвращается... Ради Бога! Ищейки бегут.

Собак и полицию уговорили по телефону. Полиция согласилась сразу, но собак пришлось долго уговаривать. Оказы-

## Н о в о с е л ь е

вается, что они донюхались и до карандашей и страшно озверели. Пришлось им пообещать целую жизнь безупречной честности.

Когда все наконец успокоилось, Вовка подошел к матери, вздохнул облегченно, но еще дрожащим вздохом, и сказал:

— Ну теперь можно наконец переменить мне штанишки. Теперь нам уже ничто не угрожает.

---

Утром, когда дети шли в школу, Буба заметила на тротуаре двойную булавку.

— Смотри, Вовка, кто-то булавку потерял.

— Не смей трогать, — прогремел Вовка басом. — Это чужая собственность. Ты должна сначала найти владельца, а потом уж можешь поднять, чтоб вернуть ему.

Буба отдернула свою преступную руку, уже готовую было завладеть чужим добром, и с уважением посмотрела на человека, вступившего на честный путь.

Человек шагал по честному пути толстыми ногами в связанных мамой гетрах, сурово сдвинув над круглым носом те места, где у взрослых растут брови. И от него пахло теплым молоком и манной кашей.

НИКОЛАЙ ОЦУП

## ДЕМОН И МЕССИЯ

Нет не тот, совсем не тот, —  
Дух печали и высот,  
Холода и кары,  
И не вечной пары —  
Черта с ведьмой — сьадьбы под  
Визг ночного сброда, —  
А сама природа.

С мерой зла или добра,  
Львиной и паучьей,  
И неистовствами пра —  
Памяти . . .

Не мучай  
Тела бедного, аскет,  
Не томи бесплодно —  
На нее управы нет.  
Жить как ей угодно  
Будешь: памятью зверей . . .  
Это — память волосатой,  
Призывающей, брюхатой  
Самки и в соитье с ней  
Это ярости твоей  
Память: до крови укуса  
(Боли, запаха и вкуса).  
Это — общая у всех  
Память счастья и срама . . .

## Н о в о с е л ь е

Первая молитва: мама,  
Но первое первый грех.

Мать склоняется над сыном,  
Безутешна и нежна,  
Чтобы на своем, зверином,  
Не поставила война.  
Бесполезно: несвобода,  
Мать-обида, мать-природа  
Властвует,  
и легче на  
Всех морях и сушах  
Все в огне бои,  
Чем твои или мои  
С нею в наших душах.

\*\*  
\*

И не Тот, совсем не Тот,  
Огненный от позолот  
Царь на троне . . .  
Кровь и пот,  
Казнь хлыста плебейскую  
Принимающий идет  
В полночь иудейскую.

Иудейская она:  
Вся земля — одна страна  
Бога Авраамова,  
Речь из облака слышна,  
Из того же самого:

— Вот мой сын, не он один,  
Все вы дети мне,  
Только он особый сын,  
Помогите мне . . .

Светом камера полна,  
Свет не из окна . . .

К нарам наклоняется.  
Перед ним еврей лежит.  
— Я и сам с тобою жид . . .  
С каждым побратается.

У мобилизованных  
Он перед глазами . . .  
Под Его устами  
Сколько лиц бескровных.

Между ними есть одно,  
Свет и музыка очо.  
Ты меня к любви вела,  
В ад сходила для меня,  
Но едва лишь из огня —  
Обжигаясь, вывела, —  
Слово ты с меня взяла:  
— Весь еще не высветленный,  
Поклянись не делать зла  
В темноте невысказанной.

Совести ли это глас?  
Но в тебе, одной из нас,  
Грешных и страдающих,  
Слабо подражающих  
Брату, старшему в ряду  
Праведников ежедневных,  
Вызывающих вражду  
У неправедных и гневных, —

В сердце у тебя Он — тот,  
Кто от Демона-природы  
И спасает и спасет . . .

Любящий невольник ждет  
Сверхъестественной свободы.

АНТ. ЛАДИНСКИЙ

## НА РИМСКИХ ТАБЛИЧКАХ

I

Я живу под сенью Рима. На его шумных улицах и величественных форумах я встречаю тени Сенеки и Марка Аврелия. В Риме жил Аммиан Марцеллин, о котором я вспоминаю с нежностью. Но мой проницательный друг, живущий не в Риме, а за морем, в городе фабрикантов папируса, осуждает меня за то, что я погружен в прошлое.

Справедливо, что только окружающая нас жизнь, только заботы современности должны привлекать наше внимание. Но современность без прошлого повисает в воздухе. Где начинается настоящее время глагола? В последнем эдикте сената? В написанном вчера и еще пахнущем чернилами манускрипте стихов? Или в тех мыслях, которыми болели раньше нас жившие на земле люди, наши далекие сестры и братья, мечтавшие, как и мы, о том времени, когда на нашей планете не будет ни рабов, ни богатых откупщиков, а настанет царство трудящихся?

II

Сенека в своем знаменитом «Утешении к Марсии» сравнил человеческую жизнь с путешествием в Сиракузы.

Человек, которому выпал жребий вкусить земную жизнь, видит, как в прекрасном путешествии, мириады звезд на черном небе, луну, облака, сияние солнца среди росистого и наполненного птичьим пением утра, тучные пастбища с возле-

жащими на них тельцами, волнующуюся от дуновения ветерка пшеницу, многорыбные реки, грациозные кривые морских заливов, где веют зефиры, стоят пальмы, и корабли уходят в далекое плавание. Но прежде чем взойти на один из этих кораблей, отправляющийся в Сиракузы, поразмысли, путешественник!

Ты увидишь порт, полный оживления и товаров, набережные, на которых люди говорят о чудесах Индии или о носорогах Африки. Ты увидишь харчевни, где приятно пахнет жареной на оливковом масле рыбой. Однако знай, что в Сиракузах ты встретишь и тирана, который будет угрожать твоей жизни и попирает твою свободу. Итак, подумай прежде, чем принять решение! Плыть ли тебе в этот соблазнительный город или, может быть, лучше остаться в черном небытии утробы?

Продолжим наше сравнение. Действительно, пребывание на земле можно сравнить с полным всяких превратностей странствованием, когда кроме приятных вещей мы встречаем также войны, болезни, злобу людей, социальные катастрофы, кораблекрушения и слезы по тем, кто ранее нас покинул мир.

Родители знали о том, что ожидает в мире их дитя, но в порыве нежности забыли об этом и зачали его в ночном поцелуе. И вот, как в далекое путешествие в Сиракузы, человек отправляется в слезах в жизненный путь и видит на нем деревья и цветы, хижины и дворцы, храмы и темницы, хлебопекарни и нимфеи и те самые прекрасные звезды на небе, о которых с такой печалью писал Сенека в своем «Утешении к Марсии». Но я благодарю судьбу, что мне дано было подышать земным воздухом со всеми его радостями и печальями, любовью, трудами, огорчениями и даром писать стихи.

### III

Император Юлиан родился в холодную зимнюю ночь. Это случилось в императорском богохранимом городе Константинополе, который в те годы пахнул известью и свежим

## Н о в о с е л ь е

деревом, так как иждивением христиан в нем поспешно возводились базилики и общественные здания.

Ночью в городе стояла печальная тишина, только иногда нарушаемая песней пьяных корабельщиков в квартале портовых лупанаров или стенаньем рабов, которых на ночное время запирали в домашние узилища, в цепях, чтобы помешать их побегу под покровом темноты.

В одну из таких холодных константинопольских ночей в доме Юлия Констанция, в опочивальне госпожи раздались крики деторождения и потом, точно возникший из другого мира, впервые прозвучавший на земле плач младенца. И Марданий, педагог и евнух в доме Юлия Констанция, слушая плач младенца, не предвидел, что родился тот, кого он поведет сквозь соленые бури «Одиссеи» и сражения «Илиады» к бессмертию.

У ложа суежилась повивальная бабка, и рабы бегали по всем направлениям — один с серебряной чашей, наполненной подогретым вином с пряностями, чтобы подкрепить силы госпожи, другой с медным сосудом. Стояла ночная тишина. Было слышно, как вода льется в медный сосуд. Ребенок плакал, точно предчувствуя, что родился на страдания и тревоги короткой жизни, которая трагически закончится в песках Парфии.

Иногда я люблю перечитывать книгу Марка Аврелия. Что такое человеческая жизнь? — спрашивал философ в пурпуре. Краткое мгновение. Что такое человеческая душа? Дыхание, наполняющее все атомы нашего тела. Но я знаю, что другие отвечают — отражение небес, Психея, слетевшая из мира платоновских идей и озарившая в утробе матери черный мрак материи. Христиане же утверждают, что душа есть божественное дыхание, вдунутое в персть, когда был создан первый человек по имени Адам, что на еврейском языке значит земля.

Юлий Констанций был сыном Констанция Хлора и приходился сводным братом великому и равноапостольному Константину. Однако, он жил в Константинополе на положении

частного лица, в тени гениального брата, господина вселенной.

Юность свою Юлий Констанций провел в отдалении от столицы, в далекой Аквитании, где процветали науки и музыки, и где этот скромный и молчаливый человек приобрел склонность к литературе, передав ее и своему сыну Юлиану.

Старая императрица Елена, пламенная во всех своих делах и ревностная христианка, в преклонных годах склонилась с милостивой улыбкой к участи своего пасынка, рожденного от первой жены Константина — Феодоры, и по ее настоянию Константин сделал Юлия патрицием, а потом дал ему право носить пурпур, хотя это обстоятельство, повидимому, не сделало более счастливым этого склонного к литературе человека.

Юлий Констанций был женат дважды, на Галле, сестре консула Руфина, и на Базилине, дочери Юлиана, консула и префекта Рима. От первой жены у него был сын Галл, от Базилины — Юлиан.

В семье Базилины было много консуляриев. Ее брат был комесом Востока. Сама она была христианкой, исповедывала арианское учение и находилась под большим влиянием арианского епископа Евсевия Никомедийского, который влиял не только на религиозно настроенных женщин в императорском окружении, но в свое время проник в душу и самого Константина.

Базилина получила изысканное образование. В мир греческой поэзии ее ввел Марданий, евнух, купленный еще мальчиком по сходной цене и посланный учиться в Афины, как это было в обычае у экономных римлян. Он, скиф по рождению, не имел страсти к стяжанию, просвещенный светом философии. От него мы с Аммианом Марцеллином узнали многое, имевшее отношение к детству Юлиана.

Но сам Юлиан не помнил матери, так как она умерла спустя немного месяцев после его рождения. О ее красоте и душевных качествах он знал только со слов Мардания. На уроках, когда шуршали разворачиваемые свитки, педагог

## Н о в о с е л ь е

рассказывал иногда мальчику о его матери. Красота Базилины была величественной и спокойной, и на ее лице, по словам евнуха, не отразилось ничего грубого и суетного. Самое прекрасное на этом лице были ее удивительные глаза. Эти пламенные глаза унаследовал от матери Юлиан. От одного взгляда его глаз трепетали старые воины и варвары, не знавшие на полях сражений, что такое страх смерти.

### IV

В дни, когда погиб отец Юлиана, растерзанный озверевшими солдатами, и были убиты многие его родственники, мальчик остался сиротой, и никто не смел даже погладить ребенка по голове, из боязни навлечь на себя гнев тех, кто распоряжался судьбами римлян. Господином вселенной стал Констанций, после смерти братьев сделавшийся единовластным императором. Годы текли, как вода под тибрскими мостами. Юлиан томился в далеком Марцеллуме, окруженный соглядатаями и священниками, в обществе рабов. В Медиолануме, откуда было удобнее наблюдать за северными границами империи, в мрачном императорском дворце, похожем на крепость, потерявшем легкость прежних наполненных воздухом римских зданий, жил тот, кто в глазах раболепных римлян стал богоподобным существом. Он стал для них центром мира, солнцем, лучи которого освещали империю. В этом человеческом сердце каждый час могла возникнуть буря и наполнить трепетом и ужасом империю, еще продолжавшую именовать в официальных актах республикой квиригов.

Ныне вся империя была во дворце, в священной опочивальне императора, у изголовья которого стояли евнух и арианский епископ. Вокруг него кипели политические страсти и ежечасно возникали мелкие интриги. Здесь процветали доносы, тщеславие, жадность, глупость и бесстыдная лесть. Люди, в водянистых глазах которых зияла сама смерть, нашептывали императору о мнимых преступлениях, называли имена участников фантастических заговоров и передавали, приложив

руку к тонкому рту, подслушанные рассказы о виденных во сне диадемах или пурпуре, и ни в чем не повинные люди отправлялись в каменоломни, в темницы и даже на казнь.

Император Констанций, человек весьма крепкого сложения, с красноватым лицом, с выдающимся вперед широким подбородком, всегда превосходно выбритый, опустив вниз голову на мощной шее, но устремляя как бы в вечном и молчаливом размышлении взор своих пронзительных глаз к небесам, слушал клеветников и доносителей, и его красиво очерченные и чувственные губы брезгливо кривились, а в глазах медленно зажигался гнев.

Мое ремесло писание, я — скриба. Я часто отказывал себе в удовольствиях или даже в одинокой прогулке среди лужаек и ручейков, чтобы не красть время, предназначенное для муз. Я неоднократно видел Константина, находясь поблизости от него в рядах протекторов, когда император сидел, опираясь на золотые подлокотники, изображавшие львов с разверстыми пастьями, и я записывал на воценой табличке все, что происходило перед моими любопытствующими глазами. Я жадно рассматривал черты Констанция и его манеру держать себя перед людьми. Я отлично запомнил его низкий аттический лоб, на который падали локонами темные стянутые золотой повязкой волосы, его сильные челюсти, впадинки на щеках, как у мускулистого гладиатора, ямочку на подбородке и тяжелое дыхание. В присутствии людей Констанций не позволял себе ни плюнуть, ни чихнуть, напоминая своей неподвижностью и немотою изваяние, хотя и не отличался красотой сложения. Одевание его было всегда самого лучшего качества, пурпурного или красного цвета, расшитое золотыми птицами и крестами, шуршавшее, как платье женщин. Ноги его отличались изрядной кривизной, и это обстоятельство делало из него превосходного всадника. Над его головой как бы стояло незримое сияние, и люди, приближаясь к нему, падали ниц и простершись во прахе, раболепно называли господина божественными именами.

— Ваша вечность! — шептал ему тучный евнух, изобра-

## Н о в о с е л ь е

зив на лице подобострастную улыбку, а император даже не давал себе труда повернуть свой лик к говорившему.

— Ваша божественность! — вкрадчиво обращался к нему с другой стороны епископ, точно в самом деле перед ним было олицетворение Христа на земле.

На голове императора сияла и переливалась драгоценными геммами и алмазами диадема. На плечи его был накинут пурпур. Край его туники был вышит помещенными в круги львами. Вокруг него стояли участники священной консистории, ибо все, что имело отношение к особе императора, называлось священным. Тут были — квестор священного дворца, комес священнных щедрот и перпозит священной императорской опочивальни. Император ел куропатку, обсасывал жирные пальцы, чавкал, издавал носом свиноподобные звуки, и пока он вкушал пищу, хоры мальчиков ангельскими головами исполняли псалмы.

Но я равнодушно смотрел на это зрелище, на пышность и мрачность медиоланского дворца, едва освещенного улыбкой императрицы Евсевии, на все это раболепство и славу. Что такое наша жизнь? Мгновение. Сущность ее? Волнение моря. Все наше тело? Гниль. Душа? Пар, дуновение воздуха. Слава и власть? Пустые слова.

Сколь часто я присутствовал при подобных сценах, стоя на страже в рядах сияющих оружием протекторов. Видел я Констанция и на полях несчастных сражений, когда над его головой страусовые опахала сменял лабарум, — осыпанная жемчугом и яхонтами христианская хоругвь Константина.

Но стоило мне на минуту закрыть глаза и моему внутреннему взору представлялось другое зрелище — опустевшая церковь; посреди нее, в длинной негнувшейся как стихарь серебряной тунике, сжимая на груди детские кулачки, всеми оставленный, осиротевший, заплаканный Юлиан озирался по сторонам, как затравленный волчонок, а люди спешили покинуть церковь, чтобы не встретиться с этими огненными детскими глазами: малодушные и ничтожные по своей природе,

А н т . Л а д и н с к и й

они с одной стороны опасались приласкать ребенка, а с другой стыдились за низость своих душ.

Случаю было угодно, чтобы я увидел этого ребенка юношей и мужем, во время исполнения всякого рода поручений императора, посылавшего меня в Марцеллум и в Амиду, осажденную сарацинами; в Тарс Киликийский и на берега Ефрата. Я был рядом с ним и с Аммианом Марцеллином, справедливейшим человеком на земле. Теперь прошлое возникает передо мною, как сон. Но я не жалею, что пережил все то, что мне было суждено пережить.

1947 г., Париж.

ВЛ. КОРВИН ПИОТРОВСКИЙ

**С А Д**

На пыльной площади парад,  
Все улицы полны народа, —  
Весенний ветер и свобода  
В пустынный удалились сад.

Он щедро в синеве прохлады  
Горстями солнце раздает,  
Он весь щебечет и поет  
От карусели до эстрады.

Он мачту белую свою  
Украсил флагом горделивым,  
Он как разбитую ладью  
Качает утлую скамью  
С каким-то пьяницей счастливым.

И вдруг, подхваченный волной,  
Слегка скрипя на поворотах,  
Сад уплывает в мир иной,  
Лежащий на иных широтах.

И различные едва  
Земли невидимой предтечи,  
Дымятся как большие свечи  
На горизонте острова.

Предчувствуя их приближенье,  
 Бродяга открывает глаз, —  
 Его смущает в первый раз  
 Морское головокруженье.

Мир непривычно изменен,  
 Ветвистый мрак струится рядом —  
 Над медленно шумящим садом  
 Таинственный проходит сон.

Fresnes 1944

### Е. ЩЕРБАКОВ

\*\*

Годы мечтаний, неумелой отваги,  
 Властно державшие душу мою,  
 Оставляю, как змея чешую  
 Оставляет меж камней в сонном овраге.

И в нем она, чувствуя новою кожей  
 Сырую тень, уползает в поля...  
 А я лишь пойму беспокойней и строже,  
 Как стынет сердце, как стынет земля.

\*\*

Как будто все мертвó. И небо так далёко.  
 Горящий взор мольбы над звездами умрет.  
 И только время, верный демон рока,  
 Как одинокий путник движется вперед.

А ты живи грехами и мечтами  
 И с мужеством внимай со дна земной глуши,  
 Как дни текут из пустоты над нами  
 В другую пустоту за облаком души.

## ТАТИАНА ОСТРОУМОВА

\*\*  
\*

Земля моя! — немилая теперь —  
хотя и ближе ты, чем раньше мне казалось,  
и я, как ты —  
ручной, покорный зверь,  
которого не раз рука хлыстом касалась.  
И я, как ты,  
кого то родила,  
покинута  
и здесь с тобой дряхлею.  
И я свой круг, как ты, одна прошла,  
о будущем загадывать не смея.  
И у тебя,  
в твоём немом нутре,  
как у меня,  
немалый груз страданья...  
Ну, чтож!  
пожалуй нам вдвоем быстрее  
подсчитывать итог существованья.  
Над головой проходят облака,  
как корабли из государств далеких.  
Куда плывут?  
И отчего тоска  
меня прибила к зарослям осоки?

.....

Гляжу им вслед  
и прошлое свое,  
такое же бездушное сначала  
разматываю...

Да, с тобой вдвоем  
 нам не найти желанного причала.  
 Так много прожито,  
 а смысла будто нет...  
 И никому мы не нужны с тобою!..  
 Вот, разве что, глядеть на этот свет  
 и любоваться этой синевою;  
 и продолжать о чем то тосковать,  
 и знать...  
 И знать мучительно безгласно:  
 не повернуть того, что было, вспять,  
 не вернуть, что кануло напрасно.

### ВИКТОР МАМЧЕНКО

## М О Н А К О

Много золота, много света,  
 Будто Боттичелли в раю;  
 Солнце огромного лета  
 У сердца стоит на краю.

О чем ты мечтаешь, неловкий,  
 Нет ведь покоя нигде;  
 Моря горизонт ломкий  
 Птицами блещет к беде.

Будешь всегда, как и ныне,  
 Там в отдаленных краях  
 Жить в человеческой пустыне —  
 Без любви — на тупых остриях.

## ЧОРТОВ СПУСК

Мы шли по широкой шоссейной дороге. Стоял знойный, жесткий от жары и ветра день. Низко над землей поднимались тонкие струйки пыли. Поль Дюбуа был в восторженном настроении. Островки щетины на его щеках свидетельствовали о наспех сбритой бороде, брюки имели измятый вид. Поль болтал радостную чепуху о трехнедельном пребывании на сеновале, о том, что вчера еще снаряды летали над головами, о ночном грохоте американских танков. На дороге валялись пустые бидоны, обертки от шоколада и папирос. На кусте одиноко болтался бумажный флажок. Раздавленный асфальт, сломанное дерево говорили о сокрушающей силе гигантов.

Мы приближались к местечку. Вчера еще оно было почти безлюдным и только хвост у пекарни оживлял улицу; сегодня толпа стояла шпалерами на раздавшемся вширь шоссе.

— Они сейчас проследуют, — сказал Поль.

— Давно пора. Мы заждались не в меру, — ответил я.

Было душно, хотелось пить, но мы втиснулись в толпу и, подобно остальным, вытягивали шеи, всматриваясь в сероватую даль. Мы возбужденно смеялись, острили, а Поль промывчал «ах, простите» субъекту, ткнувшему его в бок.

— Они раздают папирсы, — сказал мой сосед.

— И шоколад, много шоколаду, — возбужденно бормотала веснушчатая девочка.

Большие флаги трепались по ветру, впереди нас была триумфальная арка из зеленых ветвей. Какие-то молодые люди, сгибаясь под непривычной тяжестью оружия, торжественно и деловито вели трех пленных немцев.

— Их следовало бы вздернуть, а не водить по улицам, — заметил мой сосед.

— Каждому свой черед, — сказал Поль. — Меня бы они расстреляли наверное...

— Всех не перестреляешь, — ответил я, глотая облачко пыли, принесенной внезапным порывом ветра.

— Фрицы, сколько их было — фрицев, а сегодня американцы! — восторженно вскричал высокий худой человек и хлопнул себя по ляжкам.

— Боже мой, как ты глуп, — сказала женщина.

На шоссе, с той стороны, куда были устремлены все взоры, появилась белая точка. Она разрослась, и мы увидели короткие штанишки и белую рубашку толстяка, который бежал, хватая как рыба недостающий воздух. Пот струйками стекал по багровым щекам. Толстяк задыхался от сердцебиения и восторга.

— Они идут, идут, и я первый пожимал им руки...

Легкий дымок поднимался у горизонта. Наростал тяжелый и непонятный гул. Танки следовали один за другим, немолчимые как судьба. На высоте неестественно вознесенной стальной башенки торчал застывший в неподвижности человек. Танков было много, они подавляли нас непрерывным натиском.

— Что, если они повернут на нас, — сказал худой человек.

— Боже мой, как ты глуп, — повторила женщина.

— Бай, бай, — кричали детишки, протягивая худые руки.

— Вчера одного задавили такого...

— Смотрите, с нее срывают платок, — дернул меня за рукав Дюбуа, и я увидел черные засверкавшие злобой глаза и плотно сжатые губы.

Женщина опиралась на велосипед, сорванный с нее платок висел на спине, голова ее была наголо острижена, на затылке торчали уцелевшие клочки волос. Она была похожа на взбешенного шута в юбке. Медленно она отводила в

## Новоселье

сторону свой велосипед, и толпа расступалась под ее злобным взглядом.

— У, у, у... — гудело в рядах.

Женщина удалялась по боковой дорожке, яростно нажимая на педаль. Черная собака, подпрыгивая, едва поспевала за нею.

— Выпить бы, что ли, — сказал худой человек, и нам захотелось пить.

Мы пили белое мутноватое вино с легкой пеной, вино освобождения. В бистро было много народу. Над деревянными столиками кружились мухи, спасаясь сюда от ветра.

— Ничего бы не узнали, если б не эта история на «Чортовом спуске»...

— А надо бы знать, я всегда прохожу это место, — сказал кривоногий почтальон. — Впрочем, Жинет хорошая девушка и всегда вела себя примерно...

— Что это за история на Чортовом спуске? — спросил Поль.

— Это наши деревенские дела...

— Мосье тоже наш, он скрывался у Жана-садовника. Я ведь плевал на бошей и все время носил ему письма, не правда ли, мосье?

Грохот на улице затихал. Входили новые посетители, у стойки становилось тесно. Деревенский сторож, с сегодняшнего утра объявивший себя резистантом, поправлял не в меру тяжелый револьвер на отвисшем поясе.

— На Чортовом спуске надо уметь ездить, вы понимаете, мосье, — спуск, стена и крутой поворот... А фриц садился, видно, первый раз на велосипед.

— Они захватили мой велосипед, сволочи...

— Ищи ветра в поле, — вставил хозяин заведения.

— Ему было восемнадцать лет...

— Их всех надо вздернуть, и старых и молодых, — сказал худой человек.

— Ты просто глуп! — крикнула женщина.

— Он ударился лбом и грудью, а велосипед отлетел как

ракета, я сам это видел... Кровь лилась из него, как из недо-резанного телятца...

— Эти белоголовые дураки не позволили дать ему даже воды... боялись отравы. Ведь мы не звери, чорт возьми, мы не звери...

— Все равно его дело было кончено, — отозвались за столиком.

— Никак нельзя было догадаться, что Жинет из фрицевых невест, никогда мы не видели ее с бошами.

— Он лазил к ней через окно, — сказал худой человек.

— А ты откуда знаешь? — спросила женщина.

— Она тотчас же прибежала, словно почуяла. Она выла, дергала его за плечи... вся вымазалась в его крови... не очень хорошо было на это смотреть. Боши не трогали ее, а мамаша не сразу ее оттащила...

— И все-таки их всех надо оголить, — сказал сторож, поправив пояс. — Вот мы еще не добрались до Моники...

Он не успел закончить, когда мы повернулись к двери. На пороге стояла сухая старуха, вся в черном. Никто не сказал ни слова. Поль не допил своего вина.

— Ты? ты? — наступала старуха на «резистанта».

Мне было душно, у меня вдруг разболелась голова. Мы вышли на опустевшую улицу.

За нашей спиной истерически кричала женщина.

-- Нас с тобой боши расстреляли бы без всякой жалости, — сказал Поль, чтобы меня утешить.

Juan-les-Pins, 1947.

## Л А С Т О Ч К А

Ласточка нежная носится, носится  
В воздухе светлом вечером летним,  
Кружится в небе, стрелою проносится  
Над колокольней тысячелетней.

Колокол медный, колокол древний  
Дня окончанье нам возвещает.  
Тихо над Сеной. Пахнет деревней,  
Свежей травую, сеном и маем.

Черная птица с белою шейкой,  
Как хороша ты сейчас такая, —  
Падаешь низко, скользишь над скамейкой,  
В небо опять беззаботно взлетая.

Вестница счастья, вестница лета,  
Вестница вечера, друг созерцателя, —  
Дай же мне силы, легкости, света  
И простоты, чтоб прославить Создателя.

## МИХАИЛ ЧЕХОНИН

# К Н И Г И

Уж много лет, как кто-то пишет книги,  
И кто-то им ведет бумажный счет —  
Летят страницы, главы, годы, миги,  
И все в один и тот же переплет.

Как много их. Прекрасных, величавых,  
Жестоких, непонятных и пустых,  
Пленительных, печальных и лукавых  
И даже бессердечных и немых...

Читай их все — и те, и те, и эти,  
Ты не один, упрямый книгочет,  
Тебя не станет завтра на рассвете —  
Другой придет, напишет и прочтет.

Другая жизнь войдет в твое жилище  
Проверить ряд бесчисленных томов,  
Другая мысль, быть может, станет чище  
От шелеста исписанных листов.

## ЕК. БАКУНИНА

\*\*  
\*

С родиной моей я в переключке,  
Кюндовая Русь во мне взыграла,  
Предков жиг и рык: «Сарыны па кичку!»  
Лязг мечей, насилие орала.

Здоровенная, на толстых икрах,  
Я горжусь своею русской статью —  
И к Европе я не приобылала,  
И Европа мне совсем некстати.

Дар мне родины: ржаные косы  
И язык — и гибкий, и могучий,  
Синий зов в глазах чуть-чуть раскосых,  
Темный бунт, что требует и мучит.

Никогда, ни на одно мгновенье,  
Не была я с родиной в разлуке:  
Не ее ли сила в дерзновеньи  
Диким матом выкричанной муки?

А с тех пор, как на моей равнине  
Не осталось никакого тыла,  
Обливаюсь кровью я поныне,  
Чтобы кровь адела, а не стыла.

Не было разлуки и в помине,  
Не бывало никогда отрыва:  
Враг в земле моей посеял мины —  
К мировому мы готовы взрыву.

## АТАМАНЩИНА

Чита 1918-го года — не Тушино-ли Смутного времени, когда по всей Руси раскачка шла? Тушино, ворёнок, Заруцкий, Марина. Чита и читинский вор Семенов атаман, заплочных дел мастер Тирбах, семеновская Маша.

Гарцует, избочась, Семенов атаман: коренастый, широколицый, в есаульских пышных усах с подусниками. На голове папаха из белой выдры, редчайший мех, подарили монголы. Вокруг атамана конвой: пластуны, казаки, удалцы из особого манчжурского отряда. Гордится, красуется атаман: вся восточная Сибирь зажата в лапе. Была на него управа, адмирал Колчак, но не страшен Семенову адмиральский гнев, знает Семенов: решена судьба, сосчитаны дни адмирала. Что хочет, то и чинит атаман.

Колчаковцы боятся ехать мимо Читы. Едут и думают:

— Только бы проскочить Макавеево!..

В Макавееве засел Тирбах, начальник семеновской контрразведки, а про него сложено:

«Ваша шейка пахнет петелькой,  
А во взгляде замер страх.  
Отвезут вас в Макавеево,  
Где вас встретит Тир-ба-бах».

Из Владивостока, через Макавеево в Омск катятся платформы с оружием для армии Колчака. Семенов с Тирбахом не дремлют: оружие конфискуется, колчаковцев в расход. Об этом все знают, но помалкивают: слово и дело! Обронишь слово в простоте или выпивши, как уже звучит в ушах постылый, зловещий мотивчик:

«Ваша шейка пахнет петелькой» . . .

## Н о в о с е л ь е

В Чите особенно не поговоришь.

Через Читу удирают в Китай из Омска, Красноярска, Иркутска «недорезанные буржуи», спасаясь в чешских, французских, сербских эшелонах. Трясутся красные шаткие теплушки — сорок человек и восемь лошадей — обомлели от страха буржуи:

— Только бы проехать Даурию! Только бы проскочить Макавеево!

В Даурии царствует черный барон Унгерн фон Штернберг. Барона даже сам атаман побаивается, до того он лют. Барон Унгерн — потомок ливонских рыцарей, меченосцев. В желтом монгольском халате, сухой, глаза безумные. При штабе его кроме казаков, монголов, палачей китайцев, еще и колдуны, шаманы, старая бурятка, читающая по звездам. В кабинете сгорбился на шестке ручной ворон.

Странные, больные грезы овладели бароном. Потомок меченосцев решил: будущий монгольский владыка, новый Тамерлан, призван он обрушить свои орды на Запад и повеять на врагов ветром разрушения. Так наворожили колдуны, так по звездам прочитала старая бурятка. О черном бароне дальневосточный поэт Арсений Несмелов писал:

«К оврагам, где травы ржавеют от крови,  
Где смерть опрокинула трупы на склон,  
Папаху надвинув на самые брови,  
На черном коне подъезжает барон.  
Он спустится шагом к изрубленным трупам,  
И смотрит им в лица, склоняясь с седла,  
И прядает конь оседающим крупом,  
И в пене испуга его удила»...

Но не только над трупами кружит барон. Под вечер в желтом своем халате с вороном на плече идет в застенок, где палачи терзают живые тела. И если удастся буржуям проскочить Даурию — чудо из чудес! Барон неподкупен, взятка не поможет.

Зато в Макавееве грабят, озоруют разбойнички. Тирбах, Борщевский, Сипайло, Степанов. Любят пожить. А жизнь в Чите дорогая. Чита чем не столица? Кафе, офицерское собрание, рестораны, театр. И женщины в соболях, райских перьях, с бриллиантами в ушах и на пальцах; иногда кольца слишкѣм

велики, иногда тесны — стянуты с чужих рук. Эти женщины стоят дорого. На одном кокаине разоришься.

В Чите: кокаин, морфий, шампанское. В Чите громовые атамановы кутежи, где Маша цыганка, невысокая, полная, с огромными глазами в голубых белках — так огромны машины глаза, что кажутся раскосыми — Маша в горностае, бриллиантовом колье, поет «Шарабан»:

«Ах, шарабан мой, американка,  
А я девчонка да шарлатанка!»

Маше аккомпанирует на гитаре анненковец с серьгой з ухе. Или стеариновый от морфия композитор Ласкин, что сочинил жестокий читинский романс «Л'Ориган». Атаман слушает, усмехается в пушистые усы. А возле него шупленькая фигурка в зеленом френче, под плоским носом усики зубной щеткой. Непроницаемо, без блеска косят узкие глаза. Это полковник Доихара, атаманов друг. Через четырнадцать лет он кровью зальет Манчжурию.

Среди атаманова кутежа, хлопанья пробок, дребезжанья шпор, гитарных ропотов и шальных песен Маши, входит казак, ординарец Тирбаха, в шинели до пят, забрызганной кровью. Докладывает начальству: в пригороде объявились подозрительные люди, выслали на них казачий наряд. Подозрительных поймали, галопом пустили по ним коней станичники. Такой приказ отдан: подозрительных топтать конями.

Полковник Доихара тоже наставил ухо. У полковника на атамана виды: прочит его в наместники Сибири. А за полковником — красные, косые лучи падают в море — всходит военное солнце над Японией.

2.

Атаманщина. Под ее знаком прошли двадцатые, тридцатые, половина сороковых годов жизни на Дальнем Востоке. После гибели белого движения Семенов на аэроплане бежит в Японию. Нить завязана.

В Японии фанатики из военного министерства создают бредовые планы японского мирового владычества. Императорская Япония какой-то Третий Рим объединенной великой Азии. О плане Танака иностранцы говорят с насмешкой, но ведь каждый японец потенциальный Танака.

## Н о в о с е л ь е

Страна Восходящего Солнца это священные цветы вишни, священные лани в парке Нара близь Киото, древней столицы Японии; невинные снега священной горы Фуджи, чистота, прозрачность японского пейзажа. У каждой семьи, самой бедной, есть искусственный садик: в каменном подносе грот и елочки, иллюзия природы. Культ цветов, церемония чаепития, изысканные пятистишия — «танки».

Как будто мечтательные, кроткие души созерцателей. Но цветы розовой вишни и покой снегов священной горы Фуджи осены губительной секирой. На газетном жаргоне это принято называть: «японский милитаризм».

О, они не забыли упоений Цусимы. Они хорошо помнят Порт-Артур, Мукден, Ляоян. В Дайрене сохранилась убогая башенка, подпертая колыями, на ней русская надпись по ржавому железу: «Водокачка». В стене портартурского гарнизонного собрания зияет брешь: память о снаряде с «Идзюмо». В витринах военного музея окровавленные рубахи мертвых врагов. И погоны, бескозырки, ключья шинелей.

В музей каждый день приходят экскурсанты: школьники, кадеты, студенты, девочки. В глазах гордость, торжество:

— Нет ничего выше японской армии!

Над престолом горы Фуджи, над императорским дворцом расселись золотые боги, скрестили мечи.

— Нет выше доли, чем умереть за отечество. Умри и станешь богом.

План Танака становится государственной религией Японии.

Атаману отведено в этом плане особое место: наместник японской Сибири. Пока же он должен создавать диверсии. Атамана поселили в Дайрене. Вилла на морском берегу, ласково хлещут синие волны за окнами. Ровным ручьем течет золото в атаманские карманы. Диверсии само собой, а живется атаману в свое удовольствие, богато живется.

Неплохо живут и семеновцы. Первым делом атаман в генералы их произвел. В песенке пелось:

«Раньше был извозчик, звали Володя,  
А теперь стал прапорщик, ваше благородие».

У атамана это живой рукой: из станичных писарей в полковники, из урядников в генералы.

Семенов и генералы создали Братство Русской Правды. Вербуют мальчиков с горящими глазами: умрем за правое дело!

Переходят границу, чтобы ставить диверсии. Много диверсантов легло под пулями пограничников. Но что атаману русские мальчишки? Одной сотней больше, одной меньше. Чем больше ляжет их, тем вернее плывет в карманы японское золото. Недаром, стало быть, семеновцы хлеб едят. Отрабатывают.

С 1924-го года перед семеновцами большие задачи: провоцировать и русское, и иностранное влияние в Манчжурии. Программа поставлена четко: с Японией против всех иностранцев, с Японией против Китая.

Зимой 1926-го года в застенке штаба 1-ой армии погибает замученный генерал Ян-Чжо, член правления КВЖД, первая жертва японской провокации. Тело генерала выбрасывается на городскую свалку, истерзанное, обезглавленное.

В 1928 году взорван поезд маршала Чжан Цзо-лина, феодалного князя Манчжурии: противился японцам. Молодой маршал Чжан Сюэ-лян, его сын, курит опиум и играет в гольф; он не политик, просто милый молодой человек. Молодой маршал покорен лукавым царедворцам, что подкуплены японским военным министерством.

Один за другим ликвидируются сотрудники покойного маршала Чжан Цзо-лина, неугодные японцам. За банкетом тосты, речи, веселый крик:

Камбó!\*)

Под этот крик выносят с банкета отравленных. А те, кого не успели отравить, уходят в буддийский монастырь, за кованую бронзу ворот, где у красных с золотом колонн кумирни каменный монах ведет каменного коня.

В Харбине, политическом центре Манчжурии, воцаряется новый главноначальствующий, хозяин города, генерал Чжан Хуан-сян, заклятый враг иностранцев. Щека генерала разрублена казачьей саблей; генерал Чжан из стаи Тайпингов, «больших кулаков».

В мае 1929-го года возникает советско-китайский конфликт. Китайцы с помощью семеновцев принимаются за расправу над подозрительными русскими. С восточной, западной, южной линии КВЖД везут в Харбин служащих дороги. Вот они, первые концлагери: Сумбей, что за рекой Сунгари, бывшие русские казармы в пригороде Старый Харбин. Но нет ничего страшнее штаба 1-ой армии, где пленники сидят на земляном полу в деревянных клетках, скованные по рукам и ногам. Раз

\*) До дна.

## Н о в о с е л ь е

е день пленников кормят отбросами — передачи с воли запрещены. Избиения на допросах, избивают и в клетках: входит веселый палач китаец, с плеткой.

Первая проба семеновской власти в Харбине. Повторится она через три года, когда в Манчжурию вступит Квантунская армия и настанут черные, кровавые годы для всех манчжур и всех русских.

### 3

Оккупация Северного Китая — Трех Восточных Провинций — была деликатно названа «манчжурским инцидентом». Японские аэропланы, снижаясь, расстреливали из пулеметов бегущих, безоружных китайских солдат.

Недалеко от моей квартиры находилась китайская батарея с единственной пушкой: обороняла наш район от японцев. При первом выстреле пушка разлетелась вдребезги, двенадцать солдат было убито на месте. Командир батареи — в прошлом повар — с восторгом кричал.

— Хáo, хáo!\*) Его шибко лучше пушка! Тут его мало-мало стреляй и двенадцать наши люди кончайла. А японски люди его наша пушка сто кончайла. Шибко лучше пушка!

В феврале 1932-го года, ясным морозным днем по харбинским улицам двигались полчища Чингисхана: коренастые, кривоногие завоеватели в меховых ушанках. Каменные лица, каменная поступь орд. Победоносная Квантунская армия. Командующий армией генерал Тамон горячит лихую рыжую лошадь. По лицам манчжур скользят уклончивые улыбки, в глазах жгучая ненависть.

В особняке бывшего концессионера Ковальского обосновалась японская военная миссия, недреманное око. Во главе миссии полковник Доихара. Бочком, рысцой, к полковнику устремляются с доносами. И тогда впервые в Харбине раздается словечко «стукач».

— Не говорите много с таким-то. Он стукач.

— Осторожнее: такой-то стукач.

В ресторанах о присутствии стукачей предупреждали стуком по столику: тише, стукач сидит. Два рода стукачей: одни явные — тогда по столику три раза сверху стучать. Другие тайные — тогда стучать под доской столика.

Атаман Семенов всем стукачам голова. Создает в Харбине

---

\*) Хáo — хорошо.

БРЭМ, — Бюро российских эмигрантов. Начальник БРЭМА Колокольников неблагонадежен: бывший эсер. Нужен тупой служака, беспрекословно исполняющий волю «пославшего его». Чем глупее, тем лучше. Главой БРЭМА делают генерала Кислицына, в Харбине ему тут же прицепляют кличку «Кислейшего»: это рамолик, имеющий двенадцать ранений в голову.

— Да, да, да... так, так, так... Слушаюсь!

Верный семеновец не рассуждает. А над Кислейшим поставлен вождь харбинской фашистской партии Родзаевский, правая рука Константина Иваныча Накамура, начальника жандармерии.

Черные, черные годы Харбина. Все притаились, зажалась. Грабежи, убийства, похищения с целью выкупа, на улицу страшно выйти. А дома сидеть тоже страшно — обыски. Похищения ставят семеновцы: Родзаевский, Матковский и Мартынов, начальник уголовного розыска. В зловонной яме гибнет коммерсант Кофман: не вынес пыток. Выкуп в 50.000 иен заплачен. Убийцы не найдены. Похищен молодой пианист Каспэ. Только что приехал из Парижа. Выкуп — 500.000 иен. Родные согласны на половину. Отрезанные уши Каспэ в конверте шлют отцу. Потом Каспэ пристреливают. В застенке жандармерии истязают владельцев торгового дома Чурии. Зимой 1933 года в ограде советского консульства находят отрезанную голову европейца, на лбу его надпись химическим карандашом: «Предатель». Убийцы не найдены.

Фашистская партия по слову жандармерии проводит террор. Родзаевский — высокий, худой, с остановившимся взглядом маниака, приседающая, развинченнная походка. Борода до пояса: поклялся не бриться, пока не станет диктатором России. Фашисты Родзаевского называются «соратниками»; старшие — «авангардисты», младшие — «крошки». Фашистский салют: кулак вперед и выкрик:

— Слава России!

Постановлено: после завоевания России японцами переименовать Москву в «Славороссийск».

Похищениями богатых китайцев руководит хунхуз Ван, по прозвищу «Корявый»: деньги пополам с жандармерией. На линии КВжд свирепствует Шепунов. Перед допросом он играет на гитаре и поет:

— Кто это в черной венгерке?

Как запел — берегись. Попев и поиграв, любезно спрашивает:

— Не угодно-ли чайку?

Приносят чайник и воду из него льют в нос жертве. Так и называется: «чаек по шепуновски».

В 1935 году КВЖД продана. Японские и семеновские клещи охватывают весь край. В Харбине острили: фамилия нового управляющего КВЖД — Сахара. Новая валюта, введенная японцами, называется «гоби».

Сахара и Гоби. Харбин становится мертвым городом. Темны и мертвы улицы. Только стук деревянных колодок «гэта» по тротуарам, да из чайных домов заунывная японская песня.

А на харбинском виадуке в клетках висят окровавленные головы хозяев страны — манчжур.

4

Харбин сорокового года. Весна. Низкое, желтое небо, из пустыни Гоби дует песчаный ураган. Ветер извивается желтым змеем, несет ветки, бумажки, шатает заборы. Сквозь желтые тучи голубеет осколок большого солнца.

На площади, где вознес свои крылья кафедральный собор, парад: день японского флота, цусимская победа. В этот день жители Харбина сгоняются на парад.

Манчжуры и русские. Стоят часами. Посредине площади помост с трибунами. Площадь окружена полицией: выслеживают, не сбежал бы кто. Сбежишь, сразу «на третий этаж», в жандармский застенок, к Накамуре-сан.

До вечера летят с трибуны обрывки фраз, лозунги. Потом шествие по городу со знаменами и плакатами. В холодных сумерках понуро бредут, сгибаясь от ветра. Вдали одинокая труба запела «Коль Славен», голос ее затерялся в грохоте грузовиков: мчатся фашисты Родзаевского.

Но вот восьмицилиндровый Пакард обгоняет шествие. За взблеснувшими стеклами толстое лицо, пышные усы. Атаман. Приехал из Дайрена. По бокам атамана Накамура-сан и начальник японской военной миссии, полковник Хата.

Потупились униженные русские люди, бредущие в сумерках. Но старый манчжур не опускает взгляда: бесстрашна мудрая, тысячелетняя улыбка. Это смотрит Китай. Древний, вечный, пылью пустынь занес он следы своих завоевателей. Грозно дышет Гоби, желтый, жадный песок настагает восьмицилиндровый Пакард. Неудержимо падает ночь и уже ничего не слышно, кроме ветра — голоса Китая.

## К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ

Как сейчас вижу его. Высокий, плотный, стремительный в движениях и жестах. В осанке чувствуется горделивость и упорство воли. Вспыльчив и нетерпелив. Станиславский был режиссер небывалого до того времени размаха — весь в искании новых форм театрального искусства. Сегодня он отбрасывал то, что еще вчера утверждал. Ему был ведом большой и высокий соблазн — добиваться совершенства. Он репетировал пьесу год, а если этого мало — два, лишь бы добиться намеченной цели.

Кто не помнит этой величественной фигуры, одухотворенного лица, чудесной серебряной головы на могучих плечах? Европейец в полном смысле слова: ничего от профессии. Помню его почему-то в темносером костюме, сидевшем на нем широко и свободно, в крахмальном белье, с вывязанным скромным галстуком. Больше всего приковывало его изумительное лицо, с чистыми, умными, слегка прищуренными глазами. Такой улыбки, как у Станиславского, я не видел больше ни у кого.

Отличительной чертой его характера была необыкновенная скромность; до предупредительности корректный, ласковый, спокойный, — таким я его знал. В театре так же пожимал он руку Немировичу-Данченко, как и простому рабочему сцене. Но до чего быстро менялся он, как только слышался звонок, призывающий к репетиции. Он становился неузнаваем. Улыбка исчезала, лицо делалось серьезным, я бы сказал жестким.

До начала репетиции все обычно сидели в маленьком артистическом буфете. Константин Сергеевич вставал первым и направлялся в фойе, увешанное портретами деятелей сцены, начиная со Щепкина и Мочалова и кончая В. Ф. Комиссаржевской.

В фойе стоял стол, покрытый толстым темнокрасным сукном; на нем бумага, карандаши, эскизы декораций к пьесе, макеты. Все усаживались — К. С. в центре. И начиналось ча-

родейство, за которое К. С. был признан гениальным режиссером.

Просто и ясно начинал К. С. излагать план намеченной постановки; не успеваешь уследить, воспринять все богатство его красок, сравнений, характеристик, все половодье творчества. И главное, без всякой позы, без самолюбования, с той простотой, с какой крестьянин пашет землю. Каждая репетиция была праздником; особенно, когда велась еще за столом в фойе, при разборе новой пьесы. К. С. умел гениально воспроизводить и показывать множество разнообразных типов, — начиная с шестнадцатилетней девочки и кончая стариком. При постановке «Гамлета» К. С. изобразил перед труппой пятнадцать типов королей. Он вулканически выбрасывал из себя характеры и образы людей разного звания, отдаленных эпох и несхожих народов.

В том же фойе ежегодно, в августе, вся труппа собиралась перед началом сезона, который открывался 14 октября. Все знали, что К. С. будет делиться своими наблюдениями, которые ему удалось сделать за лето, и что он шагнет вперед, переступая через многое из того, что утверждал еще в прошлом году. Здесь непривычно волнуясь и робея, посвятил нас К. С. в свою «Систему актерского творчества», ставшую нашим Евангелием. Здесь, перед правлением Художественного театра, он настаивал на создании студии, впоследствии Первой студии, где готовились новые кадры артистов в духе его «Системы», под руководством его друга — Л. А. Сулержицкого. «Надо готовить нам, старикам, замену; надо предоставить молодым полную инициативу действий, как в области режиссуры, так и в области актерского творчества, только следя за ними и их направляя»...

Здесь же, в этом фойе, знакомя нас с своей «Системой», впервые пустил К. С. в обращение термины, которые стали путевыми вехами в нашей работе. Чтобы успешно работать над ролью артисту необходимо знать «зерно» роли, «сквозное действие роли», уметь «войти в круг и в нем замкнуться», уметь «общаться с партнером», «ставить правильно задачу», «освободить мышцы», уметь «пользоваться эффектными воспоминаниями из своей жизни», знать, что такое «публичное одиночество», «лучеиспускание», «лучевосприятие» и т. д. И еще: артист должен знать, что злейший враг его искусства — «штамп», или раз навсегда установленные приемы сценической интерпретации для всех ролей и сценических положений.

Ремесленнику необходим «штамп», и он набирает их целую коллекцию, — говорил К. С. Есть «штампы» для типов и для отдельных ролей, для внутреннего образа и для внешнего. Есть «штампы» для голоса, для движения и действий, — как положить шляпу, закурить папиросу, надеть перчатки, перейти улицу; даже, как в одиночестве ложиться спать и тушить свечку, как радоваться, умирать, ревновать на сцене. «Кто-то, когда-то прекрасно сыграл такую-то роль; другой это видел, но, не будучи талантлив, не понял сути, а запомнил форму, третий принял это за образец и пример, достойный подражания, а четвертый решил, что это традиция в искусстве и принял за закон. Так сложилось ремесло, которое вместе с гримом накладывает на актера заржавленные цепи рутины. С ними не проникнешь в глубину человеческой души. Эти цепи мешают следовать указаниям самого главного театрального режиссера — жизни».

От К. С. узнали мы, что обучить сценическому искусству, как это делают в драматических школах — нельзя. Задача состоит в том, чтобы воспитать в молодых актерах способности и свойства, которые дали бы им возможность освободить и раскрыть творческую индивидуальность, скованную «штампами» и ложными театральными навыками; главное — в том, чтобы расчистить дорогу к творческим возможностям актера, убрать щебень и мусор, который лежит на его пути. Таков смысл «Системы». «Не самое вдохновение, а лишь благоприятную для него почву хотел бы я научиться создавать в себе. И научить других создавать атмосферу, при которой вдохновение снисходит охотнее и чаще», говорил нам К. С.

«Система» К. С. не была надумана: она была им подмечена и проверена на опыте, артистическом и режиссерском. «Система» сводилась к внутренней и внешней работе актера над собой и над ролью. Во первых, следовало усвоить технику, которая позволила бы творчески вызывать самочувствие, благоприятствующее вдохновению. Во вторых, изучить духовную сущность произведения — «зерна», из которого оно родилось и которое определяет смысл целого и каждой отдельной роли.

Мне вспоминаются слова Оскара Уайльда: «Классиками называются писатели, о которых все говорят, но которых никто не читает». То же можно сказать и о «Системе» Станиславского: о ней много говорят, но очень мало кто ее понимает. Усвоить ее нельзя ни в час, ни в сутки, — говорил К. С.: ее надо изучать методически и практически годами, постоянно,

всю жизнь, превращая воспринятое в п р и в ы ч н о е и перестать думать о ней лишь тогда, когда добьешься, чтобы она стала проявляться естественно и сама собой.

«Продают меня оптом и в розницу, купоны стригут», — говорил К. С. при встрече со мною в Берлине в 1929 году, имея в виду дилетантов и самозванцев, которые, пробыв в Художественном театре без года неделю и усвоив «Систему» К. С. по наслышке, из третьих рук, пооткрывали за границей свои драматические школы «по системе Станиславского». Когда я спросил у К. С., еще до появления его книги «Моя жизнь в искусстве» почему он не напишет о своей «Системе», он ответил: «Как же я могу написать, когда многое еще не проверено мною на практике и на самом себе».

Бывало забежишь к нему в уборную во время спектакля; К. С. сидит за своим гримировальным столом и заносит в маленький блокнот только что проверенное им новое ощущение собственной роли или общей сцены. Всю жизнь он искал и, найдя, проверял, а убедившись в правильности того, что нашел, передавал другим.

Ближайшим помощником, проводившим в жизнь «Систему», был Сулержицкий, которому К. С. вполне доверял. Только Сулержицкий и Е. Б. Вахтангов доподлинно знали «Систему» К. С., и только они могли сказать, что постигли ее значение. Они и, конечно, сам К. С. приобщили нас, студийцев МХАТ'а к «Системе». Наши спектакли отличались от старых спектаклей Художественного театра. Московская публика горячо принимала постановки Первой студии. К. С. торжествовал и после этого еще с большей настойчивостью требовал, чтобы и «старрики» играли, следуя его «Системе».

Известно, что К. С. долго и настойчиво репетировал каждую новую пьесу. Непосвященные, относившиеся к артистической работе по ремесленному, недоумевали: «Почему так долго репетируют? Что они там колдуют и мусолят? За чем остановка? Роли выучены, мизансцены указаны, чего же больше? Остальное надо предоставить вдохновению актера — Станиславский его убивает».

Так судили ремесленники о постановке К. С., когда работа еще шла за столом в фойе. Прежде, чем добраться до сцены, надо было вскрыть индивидуальность автора, его ритм, темперамент — найти «зерно» пьесы и ее «сквозное действие», определить характер действующих лиц и их взаимоотношения. Чтобы ощутить особенности каждого персонажа, следует до-

искаться до его прошлого: если герою, скажем, сорок лет, — нужно узнать, как он рос, воспитывался, чем жил и к чему стремился. К. С. называл это — мечтать и фантазировать. «Чем богаче фантазия, тем лучше будете вы играть свою роль», прибавлял он.

К. С. требовал от своих учеников, чтобы они вели дневники и вносили в них обстоятельства жизни тех, чью роль они исполняли. Актер должен знать день за днем жизнь своего героя, — что он говорил и делал вне рамок пьесы. Много времени и труда требовалось для этой предварительной разработки, и только затем делалась попытка перейти из-за стола фойе на сцену. Случалось, что актеры теряли найденное и усвоенное во время работы за столом. Как только начинали усиливать голос и двигаться по установленным мизансценам — появлялась фальшь. Тогда снова шли к столу и, найдя утерянное, возвращались на сцену.

Такой способ работы К. С. применял и к старым пьесам. Играя много раз одну и ту же роль, артист утрачивал живое ее ощущение: появлялись «душевные мозоли». Необходимо было их срезать, «вырвать штампы», как говорил К. С.

Помню, сезон решили открыть «Тремя сестрами». Чтобы «почистить» пьесу, сели за стол. Началось с Книппер-Маши. С первых же слов стало очевидно, что роль «заштамповалась». К. С. решил добиваться свежих, живых интонаций, но Ольге Леонардовне никак не удавалось отделаться от привычного тона и манеры. К. С. вышел из себя и наговорил Книппер много резкого и неприятного: она и бездарность, и вообще по недоразумению пошла на сцену... От обиды О. Л. расплакалась. Этим воспользовался К. С. и заставил ее в этом состоянии репетировать. Все зазвучало по иному: проснулась живая душа, чего и добивался К. С. Он стал хвалить Ольгу Леонардовну: «Вы — замечательная артистка! Вы гениальны!»

К этому приему — обрушиваться на актера — К. С. часто прибегал, не щадя для достижения своей цели ничего самолюбия. Он высмеивал, передразнивал, показывал в преувеличенном виде появившиеся у актера «штампы», пока тот сам не убеждался в уродстве усвоенной им манеры.

От качаловского голоса Москва с ума сходила. К. С. однажды обратился к нему: «Ради Бога, Василий Иванович, ведь вы же не кокотка. А выходите на сцену и начинаете кокетничать своим голосом, чтоб понравиться бабам»... И тут же стал имитировать голос Качалова. К. С. считал, что как только

Качалов садится на свой голос, — это закрывает ему все пути.

Огорчался К. С. и тем, что театр не может играть трагедию: драму, комедию может, а вот трагедию и водевиль, которые он считал полюсами театрального искусства, — не в состоянии. «Продекламировать Шекспира, как это делают другие театры, мы, конечно, тоже можем, — но сыграть Шекспира, нет, не можем». К. С. ненавидел «актерские зычные голоса, их грубую подделку под простоту, сухую ударную речь, торжественный монотон, механическое отбивание хоря, ползущие кверху хроматические ходы, голосовые перескоки на терцию и квинту со сползанием на секунду в конце строки и фразы. Нет ничего противнее деланно-поэтического слащавого голоса в лирических местах монологов».

Недостатки эти он отлично сознавал, но ничего взамен не мог предложить. Это его томило, и он продолжал искать «простой, благородной речи, выдержанного и разнообразного ритма, хорошего спокойно-передаваемого рисунка мысли и чувства». Он понимал, что одолеть шекспировскую трагедию художественному театру не удастся и, не доверяя себе как режиссеру, выписал для постановки «Гамлета» знаменитого Гордона Крэга. Когда готовили пушкинского «Моцарта и Сальери», где К. С. играл Сальери, он говорил: «Чем больше я прислушиваюсь к своему голосу и речи, тем яснее мне становится, что я не впервые так плохо читаю стихи. Я всю жизнь говорил так на сцене... Я стыдился прошлого. Мне хотелось вернуть его, чтобы изгладить произведенное раньше впечатление».

Мне пришлось прочесть не одну книгу, написанную актерами. Сравните их с книгой Станиславского «Моя жизнь в искусстве» и вы убедитесь, какая между ними лежит пропасть! К. С. откровенно говорил о своих ошибках, постоянном недовольстве собой: своим телом, руками, ногами, голосом. О напряженной работе, оправдывающей звание артиста. Мировая слава досталась ему нелегко, но благодаря ему Запад повернулся к Москве. Метерлинк отдал «Синюю птицу» МХАТу. Когда Гауптман смотрел в Берлине «Дядю Ваню», он до того растрогался, что при встрече со мной вспоминал: «Я подумал тогда, почему немецкие артисты не могут так играть мои вещи?»

«Чтобы не вариться в собственном соку», как говорил К. С., он звал в театр и других мастеров: например, А. Н. Бенуа для постановки молюеровского «Мнимого больного»; постановка велась под руководством Бенуа, и К. С. принимал

безропотно все его режиссерские указания. Ему чуждо было мелкое самолюбие: ко всему, что другие знали лучше его, он охотно прислушивался и подчинялся соответствующим указаниям.

После А. Н. Бенуа был приглашен С. М. Волконский. Он увлек К. С. системой Далькроза. Помню, как С. М. в коротких трусиках проделывал под аккомпанимент рояля разные ритмы. Станиславский тотчас же решил, что это необходимо знать театру и со свойственным ему жаром заставил всю труппу проделать упражнения по Далькрозу. И стар и млад шагали в трусиках, сбиваясь и путая.

В поисках новых путей К. С. изучил все направления и испробовал, как режиссер, различные формы — реализм, натурализм, футуризм, статуарность, схематизацию — с вычурными упрощениями: сукнами, ширмами, тюлями. Пройдя через все это, он пришел к выводу, что **единственный царь и владыка на сцене** — талантливый актер. И это решил тот, кого противники не переставали упрекать, что он не дает актеру хода и «душит» его.

\*\*  
\*

К. С. умел откликнуться на всякое удачно сказанное слово и веселую шутку. Смеялся и увлекал своим весельем других.

Репетиция в студии давно кончилась, а К. С. все сидит и не уходит, болтает с нами. Чтобы позабавить его, мы показываем придуманную по его «Системе» импровизацию — «Парикмахерская». Всем хочется принять участие в забаве, а в «Парикмахерской» действующих лиц может быть сколько угодно: одни играют парикмахеров, другие — посетителей. К. С. в восторге и советует записать все удачные реплики, чтобы в них утвердиться.

Когда студию посещали именитые гости — Горький, Андреев, Дункан, Верхарн, Крэг — К. С. заставлял нас показывать свою импровизацию, как образец работ по его «Системе».

К. С. на сцене часто путал свои реплики или оговаривался. Так в третьем акте «На дне» он должен сказать татарину: «Отстань, Асанка!» Вместо этого он выкрикивал всякий раз: «Асан, отстанка!» Все находившиеся на сцене умирали с хохота, а К. С.

удивленно на них глядел, не понимая причины смеха. В «Докторе Штокмане», которого он так блестяще исполнял, на вопрос одного из действующих лиц: «Как поживают ваши дети?» Штокман отвечает: «Дети ушли в лес собирать яйца диких птиц». Вместо этого Штокман-Станиславский на всех репетициях неизменно отвечал: Дети? Дети ушли в лес собирать яйца животных». Эту реплику пришлось в конце концов выкинуть.

Работая над Сальери и мучаясь — роль у него не шла — К. С. явился в уборную к Шаляпину, который гастролировал в это время у Зимина и пел Сальери. К. С. пригласил Шаляпина к себе выпить стакан красного вина. У Станиславского стали говорить об искусстве. Шаляпин жаловался на оперную рутину, на бездарность певцов. «Понимаешь, Костя, ведь я окружен лошадьми, это же не люди, это лошади. Вот тебе хорошо: ты собрал вокруг себя таланты, а я...» Во время беседы, улучив момент, К. С. попросил Шаляпина прочесть монолог Сальери. Тот сразу согласился и прочел так, что К. С. слушал, затаив дыхание. Тогда он и пришел к убеждению, что Художественный театр не может играть трагедию. «Вот Шаляпин может, потому что он гений, у него есть все для трагедии: и голос, и темперамент, а у меня ничего. Я пыжусь над каждым пушкинским словом, а он легко, непринужденно произносит целый монолог».

Не случайным кажется мне, что у раскрытой могилы К. С. было высказано Немировичем-Данченко пожелание, чтобы все артисты поклялись перед прахом учителя служить искусству так, как ему служил Станиславский.

Самозабвенно, пламенно, бескорыстно.

С. ДУБНОВА

## В СОЗВУЧИИ С ЭПОХОЙ

Страна моя, я у тебя в долгу,  
Я у тебя в долгу, моя эпоха.

В. Инбер

Вдумчивый исследователь социально-психологических процессов, подводя итоги военному периоду, придет к неожиданным выводам: в дни всемирного катаклизма наиболее неподвижным, огнеупорным материалом оказалось человеческое сознание; мужество мысли далеко не всегда поспевало за отвагой действия. Это несоответствие, менее ощутительное в странах, к которым Янус нацизма обращен был только военным своим ликом, омрачило и без того трудную жизнь народов, испивших до дна горькую чашу оккупации. Динамика массового сопротивления, переключившаяся после победы в энергию социального переустройства, почти повсюду вступила в конфликт с консервативно-реставрационными силами, внутренними и внешними. Силы эти не в состоянии, однако, повернуть историю вспять: слишком дорогой ценой куплено убеждение, что выпрямить изувеченную жизнь можно только отталкиваясь от социального строя, из недр которого вышел фашизм.

Косность мысли, отворачивающейся от новых форм бытия, идет рука об руку с атрофией воображения. С непревзойденной яркостью сказалась эта аномалия в равнодушии, с которым цивилизованный мир принимал известия о бесперебойно функционирующих душегубках фашизма. В наши дни повышенный, почти истерический интерес к деталям вышедших из военной катастрофы режимов сплошь и рядом сочетается с полной безучастностью к быту, культуре, жизненной обстановке стран, наиболее пострадавших от войны. Высокомерно процеженное сквозь зубы слово «сателлиты» дает возможность отгородиться от трудной, противоречивой дей-

## Н о в о с е л ь е

ствительности, в которой есть и голодный блеск детских глаз, и остовы новых зданий на пепелище Лидице, и дуло винтовки, направленное рукой изувера в еврейскую бричку под Кельцами. Объединяя общей презрительной кличкой такие несхожие страны, как индустриализованная Чехословакия и отсталая Югославия, ревнители формальной демократии, органически чуждые живому «демосу», пытаются завесой недоброжелательности скрыть молодые побеги, тянущиеся вверх из обугленной почвы славянских стран Европы.

Изучать совершающиеся на наших глазах процессы, не имеющие прецедентов в истории, можно только в национально-государственных пределах. Наиболее достоверным источником является культура. Культурное наследство, завещанное миру фашизмом обеих формаций — шовинистическое кликушество Маринетти, парады немецких роботов на экране, унылый гимн, связанный с именем канонизированного сутенера — неоспоримое свидетельство предельного духовного убожества; оно говорит о том, что антигуманизм не в состоянии стимулировать истинное творчество даже на такой удобренной традициями почве, как та, которая родила Данте или Гете и Бетховена. Рост уважения к культурным ценностям в странах, осуществляющих социальное переустройство — явление, на которое предпочитают закрывать глаза упрощенцы, настаивающие на тождестве «тоталитарных» режимов, независимо от их установок и целей.

Своеобразны были пути культуры в Советском Союзе. «Октябрь» — этот неповторимый сплав формул марксизма с оглушительным всенародным «сарынь на кичку», породил на первых порах дух культурного иконоборчества. В этом он остался одинок; иными путями идут теперь славянские соседи России, перестраивающие свой быт в изменившейся исторической обстановке. Ближе других к русскому образцу стоит Югославия; особую статью обнаружила Польша, страна с бурным историческим прошлым, со старой культурой, пронизанной перекрещивающимися веяниями Востока и Запада, с тяготением к идее исторической миссии, компенсирующей долгие годы государственной немощи. Западную ориентацию поддерживал здесь в течение ряда столетий католицизм, деспотически властвовавший над душами, а после потери независимости — brutальная руссификация, порождавшая фанатическую «москалофобию». Восточная ориентация возникла в прошлом веке в кругах передовой интеллигенции, как ставка на революцию,

на «борьбу за нашу и вашу вольность». Двадцатилетие существования независимой Польши наполнено было ожесточенной борьбой между традиционализмом и прогрессом. В убогой стране с глухо ропщущими инородными «кресами», с неозримыми латифундиями старой родовой знати и жалкими полосками крестьянских владений, обломки окруженного пиететом прошлого загромождали все пути к демократизации жизненного уклада. Идеологам польской государственности некогда было думать о насущных реформах: с усердием весталок поддерживали они пламя исторического призвания страны, мнящей себя пограничным бастионом западной культуры. Старинная выспренная формула наполнилась, наконец, недвусмысленным политическим содержанием: Польша — в этом сошлись обе борющиеся за власть реакционные партии — являлась барьером между Европой и мощным восточным соседом. Эта установка открывала путь идейному торжеству фашизма, которое предшествовало победоносному маршу танков.

Отличие польского фашизма от германского обуславливалось социальной генеалогией. Гитлеризм возник из неостывшей лавы недоделанной революции и насквозь пропитан был агрессивным, мстительным фанатизмом деклассированных элементов, страдающих комплексом национальной и социальной неполноценности. Польский фашизм вышел из гнезд крупной и мелкопоместной шляхты, отказывавшейся, вопреки наказу истории, сдать свои позиции. Одним из вопиющих анахронизмов довоенной польской действительности была политическая и культурная гегемония класса, обреченного на гибель. Идеологией «пилсудчиков» было противоестественное сочетание заветов польского романтизма с принципом «сокрушения костей» (выражение одного из вождей «санации»). Молодые расторопные эндеки, организаторы террористических банд, откровенно перенесли центр тяжести в область рукоприкладства, но им не хватало мрачного пафоса нацизма.

Литература междувоенного двадцатилетия отразила хаотичность эпохи. Она открылась трагической повестью Стефана Жеромского, последнего крупного представителя польского романтизма. Когда мечта о независимости, нераздельно владевшая творчеством писателя, столкнулась с действительностью, исполненной кричащих социальных контрастов, правнук Мицкевича нашел в себе мужество повести своего героя на штурм твердынь молодой польской государственности. Предсмертный жест заслуженного писателя не встретил подража-

ния; повесть «Канун весны» осталась непревзойденной по интуиции и размаху. Литература междувоенных лет, несмотря на ряд блестящих достижений в поэзии и в прозе, оказалась не по росту эпохе: равнодушный эклектизм, утонченный психологизм, захлебнувшийся Прустом, Жидом, Конрадом, а прежде всего Фрейдом, ребячливая безответственность перед лицом грозных проблем жизни отрывали ее от массового читателя, оставленного на съедение поставщикам сантиментально-патриотической макулатуры. Изысканность меланхолического скептицизма и культивировавшаяся в замкнутых кружках игра в словесные бирюльки шокировала, как брошь, приколотая к рубищу. Особняком стояли такие произведения, как «Кордиан и Хам» Л. Кручковского, «Земля в ярме» В. Василевской, «Полонез» Е. Богушевской, бесстрашно влагавшие персты в общественные язвы. Между тем страна на новом повороте своей истории требовала от литературы социального психоанализа, вскрытия подспудных корней крепнущей реакции, очищения атмосферы, отравленной миазмами продолжительного гнета.

Литература последних лет выросла из испытаний, которым нет примера во всемирной истории. Сам факт ее существования — победа над силами зла и разрушения. Гитлеровский режим в Польше ликвидировал творческие силы страны с дьявольской методичностью; это придавало работе уцелевших особую напряженность. Под ударами молота истории, беспощадно дробившего стекло человеческих жизней, выковывался твердый булат исторической ответственности. Тончайший лирический поэт Юлиан Тувим, с «беспечального детства» искавший «сочетания слов», вдруг почувствовал, что «горит восток зарею новой» (заключение одной из глав эпопеи «Цветы Польши»); в дневнике периода эмиграции он замечает, что можно бежать из страны, но нельзя бежать из эпохи. Одаренный интуицией писатель вскоре, впрочем, понял, что в условиях современной польской действительности эти явления неотделимы одно от другого. Ему, как всей польской передовой интеллигенции, открылся параллелизм культуры и общественности, выражающийся в искании своих, особых путей. Об этом параллелизме говорит в статье-манифесте талантливый польский критик, прошедший школу формализма, С. Жулкевский: «Мы нашли свой, польский путь к новому строю в сотрудничестве частной инициативы с общественным хозяйством, в сочетании революционных преобразований с признающей наличие

партий парламентской демократией. Мы должны найти путь к новому строю и в области культуры. Путь бережного отношения к художественным и идейным течениям, так же различным по своему характеру, как различны общественные группировки, действующие в пределах лагеря подлинной демократии. Путь, который обеспечит литературе полную свободу и в то же время создаст для нее формы служения современности».

Автор манифеста не опасается, что созвучие с эпохой обеднит литературу, понизит ее уровень. Он предвидит расцвет литературного творчества. Подводя итог послевоенному двухлетию, он пишет: «В поэзии мы видим тяготение к преодолению традиций символизма и импрессионизма; она делается все более гуманитарной, близкой конкретным потребностям исторического человека, покоящейся на дисциплине чувств, иерархии переживаний, которые становятся материалом лирики. В области формы замечается стремление сочетать традиционализм с тенденциями т. н. «авангарда»... Проза обнаруживает рост интереса к проблеме общественной жизни и морали, отход от мелочного психологизма, ограничение формалистических эффектов. Литература междувоенных лет, принижающая интеллект, уступает место произведениям с большой и многосторонней интеллектуальной нагрузкой. Это совершается без ущерба для литературного ремесла; оно может гордиться новыми достижениями в произведениях, отточенных рукой мастера».

Интерес литературы к общественной и исторической проблематике не навязан сверху, а продиктован потрясениями действительности. Трагедия немецкого вторжения, кошмар концлагерей, варшавское восстание — это темы, которые надо осмыслить, чтобы можно было свободно дышать; вытесненные в подсознание, они могут стать началом, разлагающим психику народа. Писатели чувствуют, что литература должна быть всенародной исповедью, рассказом о времени, в котором наряду с небывалым героизмом было много примеров бессилия, коррупции, деморализации.

Сложность новой тематики ставит в упор вопрос о форме; серьезность этой проблемы подчеркивает такой взыскательный художник слова, как София Налковская. Писательница, подводящая под свои психологические изыскания фундамент философского детерминизма, находит, что традиционно-реалистическая техника бессильна при передаче нового опыта:

«рисую мир извне, эта техника представляет собой деформацию подлинных процессов... и в большей степени, чем всякий другой жанр, является стилизацией... Наоборот, техника экспрессионизма, интроспекция, действительность, воспринимаемая через призму чужого опыта... — все эти формальные приемы создают впечатление подлинности». Писательница констатирует, что переживания переломной эпохи непомерно перегрузили биографию каждого отдельного человека. В поисках новых приемов, необходимых для выявления неведомых до того видов страдания и героизма, равно, как и психических аберраций, литература вынуждена широко открыть доступ психологизму и философским раздумьям, создавая смешанные формы.

Плодотворный спор о приемах, адекватных тематике современности, утихнет еще не скоро. Несомненно одно: основные черты прозы, выросшей из войны — поворот к конкретности, фактологии, подлинности переживания. Молодые таланты, пришедшие в литературу прямо из партизанских отрядов, концлагерей, конспиративного подполья, знают, что нет ничего фантастичнее, неправдоподобнее действительности. И хотя среди уцелевших писателей довоенного периода имеется немало крупных талантов, именно они, молодые, обожженные всеми ветрами жестокой эпохи, выдвигаются на авансцену.

Книга литературной дебютантки Северины Шмаглевской «Дым над Биркенау» невольно наводит на мысль, что исторические потрясения создают писателей теми же приемами, что и мучеников. Читателю ничего не говорит имя молодой деятельницы подполья, пробывшей четыре года в Освенциме. Рассказ начинается с деловой статистической справки: «В крематориях Освенцима и Биркенау сгорело до 18 января 1945 г. около пяти миллионов человек». Поразительно в этом первом литературном опыте чувство меры, заставляющее останавливаться на самой границе несказуемого. Но это не бесстрастие: подспудный гнев, боль, отчаяние так накаляют слова, что ко многим страницам страшно прикоснуться. Книга Шмаглевской — не мемуары, ибо автор не рассказывает о себе, и не репортаж, регистрирующий явления извне. Это повествование не укладывается в литературные рубрики, точно так же, как его содержание выпирает из обычных рамок человеческих переживаний.

Смесь жанров — не случайность; об этом говорит книга другого молодого автора — Казимира Брандыса «Непобедимый

город». Из сопоставления обоих произведений вырисовывается стиль эпохи. Коллективный герой стоит в центре четырехлетней хроники Освенцима и пятилетней эпопеи Варшавы. Сквозь мозаику повседневных фактов — и тут, и там пробивается невероятная жизненная сила, отражающая штурм тупой жестокости. У Брандыса много писательской культуры, технической умелости; он широко применяет различные средства художественной экспрессии, в том числе и те, о которых говорила Налковская. Мы входим вслед за ним в мрак раздумий, освещаемых единой мыслью-заклинанием: чтобы последняя минута жизни была минутой силы и спокойствия. А потом вновь распаивается панорама неугомонного, патетического города с его бойкими гаврошами, с его бесстрашными конспираторами, с юношами из гетто, «которые, перешагнув порог истории, вступали на ее страницы прямо с объятых пожаром крыши Бонифратерской улицы». Борьба с оккупантом прочно вплетена в ткань повседневности; об этом говорят бомбы в школьном ранце и конспиративный гектограф за спущенными шторами уютного загородного дома, в котором ночуют известные гости, сброшенные с аэроплана... И когда в эту напряженную, фантастическую жизнь врываются с востока отголоски грозных битв, жители непокорного города начинают понимать: «воля истории сближает наш народ со страной, от которой отделял гнет, кровь, поля сражений»...

Не все польские писатели отрекаются от классических «безличных» форм повествования. И. Анджеевский, отмеченный критикой еще накануне войны, вдвигает свой новый опыт в традиционную форму повести или очерка. Его внимание привлекают разнообразные проявления жестокости, ставящие вопрос о границах психофизической выносливости; мучительство и мученичество, единоборство между духом и разрываемой на клочья плотью представляется ему источником глубочайшей правды о человеке. Этой правды писатель ищет не только на путях организованных оккупационными властями бессудных казней и массовых истязаний, но и в тех формах, которые принимает в недрах самой польской жизни отраженная бесчеловечность деморализованных гнетом и страхом потенциальных жертв. В повести «Страстная неделя» автор прикасается к язве антисемитизма с проникновенностью художника и горьким мужеством публициста. Трагедия польского еврейства предстает перед нами в затравленности, одиночестве, обреченности тех, кто спасся от гибели в пору массовых

## Н о в о с е л ь е

истреблений. В пределах единичной судьбы (страдания не измеряются арифметикой) этот аспект кажется еще более жутким, чем смерть на миру. Массовое мученичество дает возможность исхода в подвиге: сельский учитель Валицкий, накануне казни ободряющий товарища, который выдал его под пыткой («Перед судом») или освенцимский узник, идущий на смерть за отказ ударить соседа («Поверка»), «смертью попирают смерть». Но не наказ совести, а неистребимый жизненный инстинкт руководит действиями Ирены Лилен, когда она, покинув гетто, мечется из дома в дом в «арийском» квартале, наталкиваясь на равнодушие, страх, неприязнь, презрение. И когда к ней вплотную подступает тупая злоба, вымещающая на слабейших нанесенные сильными обиды, эта деликатная, культурная женщина в пароксизме ненависти к окружающим ее людям решается на бесцельный жест самоубийства.

Продолжительное сожительство со страданием и смертью накладывает на послевоенную литературу отпечаток строгости, сосредоточенности. И младшие, и старшие писатели кладут в основу своей работы убеждение, сформулированное К. Брандсом, что «история отдельного человеческого сердца имеет цену лишь тогда, когда она вплетена в ткань общих переживаний». Нужна ли читателю эта правда, купленная непомерно дорогой ценой? Ответом является огромный рост интереса к литературе. Несмотря на то, что население Польши значительно уменьшилось за годы войны, и особенно поредели ряды интеллигенции, средний тираж книги — 10.000 экз. (до войны — 2.000). Тираж литературных журналов возрос в четыре раза. Осуществилось предсказание польского поэта Норвида: творчество «прикоснулось к камням мостовой», впитавшей в себя обильную кровь.

Впережку со звуками реквиема и словами исповеди в литературе слышится хруст распрямляемых плеч. Голос писателя звучит в унисон с визгом пилы и стуком молотков, наполняющими ожившую страну. Все вокруг творится наново: география, история, международные отношения, здания, человек. И если воскреснет из пепла мысль об исторической миссии, строители, предпочитающие аромат стружек запаху пороха, будут помнить, что новая Польша является не барьером между Западом и Востоком, а соединительным звеном.

И. КРИВОШЕИН

## РУССКИЕ УЧАСТНИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ

Настоящая статья написана специально для «Новоселья» И. Кривошеиным, бывшим политическим заключенным № 78573 лагерей Бухенвальд и Аллах, по материалам, собранным «Содружеством Русских Участников Сопротивления во Франции».

Размер этой статьи не позволяет исчерпать темы об участии русских людей за рубежом в борьбе французского народа с фашистским захватчиком. Приведенные в ней имена и факты нужно рассматривать как иллюстрацию к общей, схематической картине. К этой теме нельзя подходить с точки зрения формальной, и история этого движения не ограничивается внешним перечнем событий; внутренний импульс, духовный рост и сознание каждого участника значительнее и ценнее, так как именно этот духовный фактор, а не только момент чисто политический или военный, здесь особенно важен.

Следует помнить, что движение это шло исключительно по пути добровольного и свободного выбора, и было бы не вполне правильным эту мобилизацию самого себя, проделанную каждым, вступившим в организацию Сопротивления, приравнять к постулу тех, кто идет в армию добровольцем. Тут правильнее говорить о вступлении в некий воинствующий орден, с отказом от личной жизни, собственного имени, с принятием полного и слепого подчинения анонимному начальнику, с постоянным страхом **попасться** и действительно идти на муки, а не просто попасть в плен. В итоге — двенадцать пуль или виселица в концлагере.

Если все сказанное справедливо для французского резистанта, восставшего за честь родной земли, то оно приобре-

## Н о в о с е л ь е

тает еще больший вес и значение в отношении русского «апатрида», оторванного от своей родины и связанного с Францией годами более или менее благополучного в ней житья. И для того, чтобы перед читателем возник настоящий живой образ русского сопротивленца, от скромного связиста до руководителя, следовало бы про каждого писать отдельно; иначе он останется лишь именем в длинном синодике русских героев и мучеников, отдавших свою жизнь за свободу.

Для большинства русских за рубежом день вторжения Германии на русскую территорию явился главным побудителем: патриотический момент вдохновил многих. Но факты иного порядка тоже имели значение, и ответ Вики Оболенской немецкому следователю на допросе: «Я христианка и потому не могу быть антисемиткой» — очень характерен. Да и моментом чисто эстетическим не следует пренебрегать, и он сыграл свою роль: «Не могу видеть немцев в Париже — вот и все».

Несколько слов о повседневной жизни человека мирного, вполне порядочного, обычно семьянина, на годы ушедшего в подполье. Каждый шаг его становился опасным приключением, и не только для него, но и для всех его родных и подчас даже друзей, не подозревавших, что он — номер X в такой-то боевой организации. Все было опасно: и русская барышня, перевозившая ротатор на метро, рисковала своей жизнью наравне с набиравшим тайную листовку на этой машине, или с тем, кто укрывал у себя сбитого союзного летчика, бежавшего из плена советского солдата и пр. Приходилось быть все время на чеку: одно неосторожное слово, лишняя встреча в кафе, — все могло быть поводом к доносу, т. е. к аресту. О том же, что было после ареста, говорить не приходится — это тема страшная, совсем особая. Те, кто прошли через немецкие застенки, — рю де Соссэ в Париже, или гостиница Терминюс в Лионе, те, кто чудесным образом вернулись полуживыми из Бухенвальда или Равенсбрюка — это знают.

Коротким вступлением я хотел обрисовать тот «климат», в котором проходила жизнь резистантов: русских людей в этом движении участвовало немало. Были и молодые, подчас совсем юные, были верующие и атеисты, рабочий люд и интеллигенты, были ученые, — все разнообразие зарубежья. Более ста человек русских участников Сопротивления и бойцов в рядах войск Свободной Франции погибли от немецких палачей; многие годами томились в тюрьмах и концлагерях. Все

они — и те, кто принял мученический венец, и те, кому удалось проскочить сквозь сети гестапо, составляют моральный актив русской эмиграции.

Переходя к изложению фактической стороны моей темы, делаю сразу две оговорки. О действиях советских партизанских отрядов здесь будет упомянуто лишь в связи с участием в них русских эмигрантов; история этих отрядов и их героическая борьба с немцами во Франции такова, что ей следовало бы посвятить отдельный очерк\*).

Чисто политическая эволюция в русской среде за годы оккупации Франции — тоже тема слишком обширная, и я коснусь ее лишь мимоходом. Благородная позиция, занятая с первых дней главой русского эмигрантского комитета В. А. Маклаковым — всем известна. Несмотря на свой преклонный возраст, он был в 1942 году заключен немцами в тюрьму, где пробыл несколько месяцев. После освобождения, в сотрудничестве с кучкой людей, среди которых первое место занимал А. Ф. Ступницкий (теперешний редактор газеты «Русские Новости»), В. А. продолжал вести политическую акцию, несомненно давшую свои результаты. Этот небольшой негласный комитет мы можем с радостью противопоставить «комитету» Жеребкова, Краснова и прочих немецких приспешников.

По тем же причинам я не остановлюсь на политическом значении группы «Русский Патриот», о которой речь будет ниже, и ее влияния на весь дальнейший путь русской эмиграции во Франции.

Участие русских в Соппротивлении во Франции можно разбить на две части: с августа 1940 г. по 1943 г. и с 1943 г. до освобождения.

### 1940 — 1943 г. г.

В эти годы русские самотёком или небольшими группами вступают в ряды Соппротивления. Обособленные русские группы с чисто «русскими» заданиями явятся лишь позже. Знание немецкого языка и ярлык «белый» сыграли здесь свою роль и облегчили работу разведывательного характера и служб связи.

---

\*) См. книгу Гайто Газданова: «Je m'engage de Defendre». Ed. Defense de la France. Paris 1946.

## Н о в о с е л ь е

Некоторые русские люди, замечательные по силе духа и красоте внутреннего облика, уже в августе 1940 г. вступили в борьбу против оккупантов. Основателями réseau в «Музее Человека», издателями первой подпольной газеты во Франции под именем «Resistance» явились два талантливых молодых ученых — Борис Вильде и Анатолий Левицкий. Оба они, совместно с пятью товарищами, после длительного заключения в тюрьме, были расстреляны на Mont Valérien. Имена их известны всему университетскому и ученому миру Франции. Смелость их, самоотверженное и благородное поведение на суде — высокий пример торжества духа в безнадежный период европейской жизни.

В 1940 г. также начали подпольную борьбу княгиня Вера Оболенская и Софья Вл. Носович; Оболенская была одной из ближайших помощниц Артюиса (арестован в 1941 г., погиб в 1943 г. в концлагере) и одной из основательниц организации О. С. М.

Оболенская и Носович вели опасную и ответственную работу до 1943 года. В декабре 1943 г. их арестовали, подвергли пыткам и военным судом приговорили к расстрелу. Веру Оболенскую казнили в тюрьме Plötzensee в Берлине. Носович провела еще один страшный год в Равенсбрюке. В апреле 1945 г. она вернулась во Францию. Оболенская награждена посмертно орденом Почетного Легиона, Военным Крестом с пальмами и медалью Сопrotивления.

Русские работали тогда в различных организациях Сопrotивления: в разведывательных réseaux, связанных со штабом генерала де Голля в Лондоне, в отрядах Ф. Т. П. (Вольные стрелки и партизаны), несли службу связи, набирали в типографиях подпольные издания и пр. Многие русские евреи работали в еврейских организациях Сопrotивления, занимая там ответственные посты: например, Я. Б. Рабинович.

Но уже и в этот период следует отметить существование двух русских группировок, численно более значительных. Это «Группа 22-го июня», возглавляемая инженером Ю. С. Монтуляком, которая вела разведывательную работу и группа, основанная в городке Дурдан, под Парижем, А. Угримовым (он служил там инженером на мельнице), впоследствии сохранившая название «Дурданской группы». Эта группа — около двадцати человек — была связана с Vengeance Nord через знаменитого французского гонщика Альбера Бенуа, повешенного немцами в сентябре 1944 г. в концлагере Бухен-

вальд. Угримов и многие его товарищи принимали участие в приеме парашютажей оружия, происходивших над дурданскими лесами. Понемногу мельница, где работал Угримов, превратилась в настоящий арсенал. Угримов и его жена укрывали у себя в течение шести недель раненого американского летчика, а затем целые группы советских бойцов, бежавших из немецкого плена. За несколько дней до освобождения Дурдана Угримов вошел в связь с американским командованием и таким образом смог дать американцам ценнейшие сведения. И он, и многие из его товарищей награждены Военным Крестом.

Нельзя не упомянуть об организации, хотя и не причислявшей себя к настоящему Сопротивлению, но осуществившей весьма ответственную и ценную работу в области социальной помощи. Организация эта зародилась в июле 1941 г. и обосновалась в помещении русской церкви на рю Лурмель; душой дела стала мать Мария Скобцова. Оттуда посылались тысячи пищевых пакетов в концлагерь в Комьене, где были заключены многие русские, и оказывалась помощь их семьям. Там находили приют многие, скрывавшиеся от преследования немцев. В полном контакте с матерью Марией работал и Сергей Федорович Штерн; он помогал из собираемого им благотворительного фонда тем, кто по причинам полицейского надзора не мог больше скрываться в общегитии при церкви. Много русских ученых, писателей и больных стариков пережили трудные военные годы только благодаря его неустанным хлопотам и стараниям. Работая в контакте с еврейскими организациями, он содействовал перевозу еврейских детей в провинцию, спасая их от крематорных печей. С. Ф. долгое время принужден был жить на нелегальном положении.

Основатели организации при церкви на рю Лурмель дорого заплатили за свою деятельность: в феврале 1943 года мать Мария, настоятель прихода о. Дмитрий Клепинин, юный Юра Скобцов и трое других были арестованы немцами и вывезены в концлагери в Германию. Четверо из них там и погибли, в их числе мать Мария. Многие знают теперь, какая атмосфера царилла в лагерях смерти. Но среди звериной злобы, страданий и унижений мать Мария сумела сохранить свободный дух, сочетая его с подлинно-христианским смирением, словом и примером поддерживая остальных заключенных.

Многие русские священники во Франции подверглись преследованиям оккупантов за свое патриотическое поведение: проф. богословия И. Стратонов, священник Врасский погибли

## Н о в о с е л ь е

в депортации; священники о. Михаил Бельский, о. Константин Замбрийский и престарелый монах Зосима были арестованы и месяцами сидели в тюрьмах и лагерях.

Расскажу один небольшой эпизод о двух русских учениках лицея Жансон в Париже: герои его почти мальчики. Таких мальчиков в Сопротивлении было немало. Часто они шли на дела отчаянные; есть много осиротевших семей, навсегда оставляющих за столом незанятое место.

В марте 1944 г. ученик старшего класса Филипп Сержан предложил своим товарищам Сидорову и Мхитарову помочь выполнить задание, полученное Сержаном от полковника Делорма: выкрасть и уничтожить важные бумаги, попавшие в руки провокатора. Те согласились и на следующее утро — успех дела зависел от быстроты выполнения — украдкой пробрался в указанный им дом, проникли в квартиру, связали старика консьержа, который в это время был занят уборкой, стали шарить и обыскивать столы и ящики, и наконец, нужные бумаги были найдены. Тем временем жена консьержа вызвала полицию; Филипп Сержан, схватив бумаги, успел бежать, а Сидоров и Мхитаров были арестованы и предстали перед уголовным судом за кражу со взломом (несмотря на то, что украдено ничего не было, кроме бумаг). Они были приговорены к 15 месяцам тюрьмы — наказание слишком строгое и свидетельствующее о том, что судья отлично понимал, в чем дело, но настроен был в духе Виши. Юноши отбывали срок наказания в тюрьме Санте, с нетерпением ожидая освобождения Парижа, казавшегося совсем близким. Но в день Национального Праздника 14 июля 1944 года в отделении уголовных вспыхнул бунт, жестоко подавленный французской «милицией». Милиционеры расстреляли 22 заложника, отобранных наугад, среди них оказался Мхитаров. Сидоров был выпущен из тюрьмы только в октябре 1944 года, т. е. через два месяца после освобождения Парижа, и позднее получил медаль Сопротивления. Мхитаров награжден ею посмертно.

---

Второй период Сопротивления начинается с 1943 года, когда во Францию стали прибывать большие партии советских военнопленных, советских граждан, увезенных на принудительные работы, а также «Власовские войска». Союзное командование и французский Резистанс были обеспокоены

приходом этих войск и возможностью применения их для репрессий во Франции; русским участникам Сопротивления было поручено выяснить численность и настроение власовцев.

В сентябре 1943 г. образовалась самая крупная русская организация Сопротивления — «Русский Патриот». Участниками и руководителями этой группы явились русские, проживающие во Франции. Группа эта входила в состав французской организации М. О. I., как самостоятельная русская единица Сопротивления. В М. О. I. объединялся ряд иностранных группировок во Франции — испанская, армянская и т. д. Эта организация сразу же заняла одно из первых мест, благодаря самоотвержению и героизму вступивших в ее ряды партизан, и гестапо вело с ней усиленную борьбу. В 1944 г. стены Парижа были оклеены желтыми афишами со списком и фотографиями двадцати двух иностранных террористов, расстрелянных по приговору немецкого суда. Целью этой пропаганды являлось желание вызвать ксенофобию и доказать французам длинным перечнем трудно произносимых иностранных фамилий, а также изображениями страшных, небритых, измученных допросами людей, — что Резистанс не французское дело. Однако, результат был противоположный: никогда, вероятно, во Франции не существовало более тесного и братского единения, чем то, которое было в рядах людей, вставших на борьбу с оккупантами.

Вернемся к «Русскому Патриоту». Руководящее ядро этой группы состояло из русских, уже задолго до войны занявших антифашистскую позицию. Многие из них сражались в рядах интернациональных бригад в Испании. Большинство было арестовано в начале войны и заключено в лагеря, а впоследствии было выдано правительством Петена немцам и вывезено в Германию на принудительные работы. Те из них, кому удалось вернуться во Францию и стали организаторами «Русского Патриота». Отметим Шибанова, Михневича и Качву. Задачей «Русского Патриота» была пропаганда Сопротивления, сбор средств, всяческая помощь советским военнопленным, отправка посылок в лагеря, облегчение побегов, укрывание и переотправка в партизанские отряды и во французское «маки». И, наконец, пропаганда среди «власовских частей», призывы к дезертирству или вооруженному восстанию.

Первой цели помогал издаваемый группой журнал «Русский Патриот». Выходил он на ротаторе, с тиражом в 300-500 экземпляров; всего вышло в 1944 году тринадцать номеров.

## Н о в о с е л ь е

Даже представить себе нельзя, с каким риском и трудностями было связано издание и распространение «листовки» в те времена. Два первых состава «редакции» были поочередно арестованы; «типография» — пишущая машинка и полу-сломанный ротатор — захвачены гестапо. И все же выпуск газеты продолжался без перерывов до самого освобождения. Как всегда в Соппротивлении — арестованный товарищ автоматически сменялся другим.

Помощь русским военнопленным стала быстро развиваться; в январе 1944 г. она была передана в руки «Центр. Исп. Комитета Союза Советских Военнопленных во Франции» — в нем сперва было три, затем пять ответственных членов, все бежавшие пленные. Вскоре внутри самих лагерей под руководством Центрального Комитета уже работало более 20-ти местных отделов. Комитет издавал особую листовку для распространения среди военнопленных. Такова работа, осуществленная на чужбине людьми, не знавшими даже французского языка. Роль участников группы «Русский Патриот» и русских сопротивленцев вообще уточняется: они служат переводчиками, проводниками для советских товарищей, помогают им в сношениях с французами и Резистансом. Многим советским военнопленным удалось таким образом пройти сквозь целые департаменты без бумаг и без денег; в одном Париже в мае 1944 г. находилось до полутораста бежавших советских военнопленных. Помогал им и снабжал их продовольствием по поручению группы «Русский Патриот» — Лев Савинков.

В работе среди власовских частей принимала также участие дурданская группа, остальные русские сопротивленцы, входившие в ряды французского Резистанса и ряд эмигрантов, увидевших возможность внести свой вклад в дело борьбы с немцами. Эта работа была одной из самых опасных; военнопленные горели патриотизмом, пылали ненавистью к немцам. Ужасные муки, которые они претерпели в лагерях, еще больше их ожесточили. Среди власовцев же, наоборот, находились люди слабой воли, не выдержавшие пытки голодом, или же представители наименее цивилизованных народностей СССР; наконец, зачастую встречались и предатели, сознательно перешедшие на сторону врага. Перед русскими сопротивленцами была трудная задача: завязать контакт с этими частями и призывать их к дезертирству и бунту, а также внушить власовцам мысль о неизбежности разгрома Германии, разбудить в них дремлющее чувство патриотизма.

Многие русские эмигранты пошли на эту работу без предварительной подготовки и были преданы гестаповцами. Так пострадали, например, Е. А. Новикова, ее двадцатилетний сын Юрий и его приятель Олег Жидков; после первой встречи с власовцами они были арестованы и вывезены в Германию, где Юрий Новиков умер в лагере от истощения. Его мать, проводившая полтора года в Равенсбрюке, записала свои впечатления об этом страшном лагере, и они частью уже опубликованы во втором номере «Вестника Содружества Сопrotивления».

Несмотря на все опасности, антивласовская акция продолжалась, и многие власовцы стали переходить к партизанам. Французский Резистанс получил полное заверение в том, что в случае высадки союзников, немцы не смогут рассчитывать на власовские части.

Два парижских писателя, В. Андреев и Б. Сосинский, жившие на острове Олерон, вошли в сношения с советскими военнопленными, завербованными в немецкие войска и находящимися в батарее острова; им удалось связать с ними местный Резистанс и совместно взорвать пороховой склад, — 24-го ноября 1944 г.

Член «Содружества Участников Сопrotивления» Големба убедили целую группу (более 80 человек) советских татар сдать с оружием и большим количеством патронов, которых как раз нехватало партизанскому отряду, где состоял Големба.

Многие русские эмигранты сражались во французском «маки». В первом номере «Вестника Содружества Сопrotивления» мы упоминали о геройской смерти Павла Зиссермана в Верхней Савойе, где шефом «маки» был тоже русский, М. Штанге.

Офицером связи при штабе сов. партизанского отряда имени Максима Горького, действовавшего в окрестностях Дижона, был А. Покотиллов.

В департаменте Верхней Луары И. Басс (кличка Андрэ) организовал целый советский батальон, куда входили татары, армяне и грузины (352-ой батальон Ф. Т. П.); этот отряд особенно отличился при взятии города Ле Пюи, 19-го августа 1944 года и при следующих боях взял в плен 4000 немцев.

В советском отряде, оперировавшем в департаменте Дордонь под командой капитана Хетаурова, состояла наша соотечественница Тамара Волконская. Ей были выданы бумаги на имя Терезы Дюбуа, но в маки ее больше знали под кличкой «красная княгиня». Она вела активную пропаганду

## Н о в о с е л ь е

среди советских военнопленных и в один только день привела в отряд 85 власовцев, дезертировавших из немецких рядов. 1-го июня 1944 г. она попала к немцам, которые избili ее прикладами и бросили полумертвой; Волконской все же удалось вернуться к своему отряду, и она участвовала во многих сражениях во время освобождения Дордони.

---

Восстание в Париже — последняя глава в истории Сопротивления во Франции. В эти исторические дни четверо русских положили свою жизнь за освобождение этого прекрасного города.

Моя заметка была бы неполной, если бы я обошел молчанием участие русских в рядах армии Свободной Франции (Ф. Ф. И.). Одним из первых, записавшихся туда после призыва генерала де Голля 18-го июля 1940 г., был наш товарищ Николай Вырубов (номер записи десятый). Отказавшись от поста переводчика или офицера связи, который ему предлагали, Вырубов с оружием в руках принял участие во всех кампаниях Ф. Ф. И., был дважды тяжело ранен, награжден Военным Крестом и получил высшее отличие за участие в Сопротивлении. Заполняя опросный лист для вступления в наше Содружество, Вырубов против вопроса — «Имели ли вы дело с немцами, и если да, то почему?» — смог написать: «Да, имел, — на полях сражения»

Многие русские, жившие во Франции, бежали через Пиренеи, побывали в испанских тюрьмах, но все же добрались до Африки и там вступили в ряды Ф. Ф. И. Было время, когда русским приходилось заверять, что они натурализованы, чтобы иметь право сражаться.

Некоторым, как например капитану Катлама, удалось на рыбацкой лодке пробраться в Англию через Ламанш и после прохождения специальных курсов быть парашютированным во Францию для участия в Сопротивлении. Так же был парашютирован для чрезвычайно ответственной работы В. Бурьшкин, схваченный впоследствии гестапо, но сумевший бежать из тюрьмы, благодаря исключительному мужеству и присутствию духа.

Только два эмигранта осуществили желание многих русских участников Сопротивления: сражаться на русской земле под советским командованием. Это лейтенант Стахович и лей-

## И. Кривошеин

тенант Эйхенбаум, вошедшие в состав эскадрильи Норманди-Неман, и проделавшие с нею все кампании — от Харькова до Берлина.

Из длинного списка русских, павших в рядах войск Свободной Франции, упомяну в этой статье лишь одно имя: младший лейтенант Карновский, командовавший танком в дивизии Леклерка, был предательски убит немцами 25-го августа 1944 года, в день вступления этой дивизии в Париж. За час до смерти он звонил по телефону матери, которую не видел несколько лет и сообщил, что он в Париже и вечером придет ее навестить.

---

Лагерь «Аллах» (отделение Дахау) был освобожден американскими частями 29-го апреля 1945 года. Через день вместе с 700 французскими товарищами по бараку я праздновал 1-ое мая. Над импровизированной эстрадой была выведена крупными буквами заключительная фраза из прощального письма Gabriel Péri, расстрелянного немцами в 1941 году: «Nous préparons les lendemains qui chantent».

Прошедшие с тех пор два года принесли с собой немало разочарований. Послевоенные будни не похожи на светлое будущее, рисовавшееся в ту минуту измученным, одетым в полосатые лохмотья людям. Однако, хочется верить, что принесенные русскими участниками Сопротивления жертвы не были напрасны, и что их посильный вклад в дело победы над гитлеровской Германией и ее приспешниками будет способствовать осуществлению долгого и прочного мира, и тем самым счастьем нашей родины.

## СЕВРСКИЙ ТРАКТАТ 1920 ГОДА\*)

После октябрьской революции бывшие союзники императорской России не видели больше надобности считаться с постоянными интересами российского государства в проливах, к чему их как будто обязывали огромные жертвы, принесенные русским народом. Постановление Севрского трактата, заключенного без участия России, красноречиво свидетельствует об этом настроении западных держав. По 37-ой ст. этого договора проливы открываются и в мирное и в военное время не только для торговых, но и для военных судов. Таким образом флоты иностранных держав получают свободный доступ к Черному морю. Проливы разоружаются и подчиняются надзору международной Комиссии. Надзор этот опирается на военные силы Франции, Англии и Италии, которые оккупируют разоруженные зоны проливов (ст. 39, 44, 178). Иными словами, турецкий суверенитет в Константинополе и в проливах заменяется властью Комиссии и держав.

Севрский трактат очень интересен, как показатель новой политики союзных держав в проливах. Но фактического значения он не имел, так как был заключен с умирающей старой Турцией и уже через три года был заменен Лозанской Конвенцией держав с новой Турцией, созданной Мустафой Кемалем.

### Лозанская конференция 1922-1923 г.

Лозанская конференция обсуждала вопрос о проливах при участии Советской России, отказавшейся от обладания Константинополем и проливами, гарантированного Российской Империи ее союзниками. Какую же позицию занимает в этом вопросе на Лозанской конференции новая свободная

---

\*) См. «Новоселье» No. No. 29-30 и 31-32.

Россия, открыто восстающая против насильственного захвата чужих территорий и заявившая, что ищет мира «без аннексий и контрибуций»?\*)).

Чичерин, первый уполномоченный советского правительства на Конференции, настаивает, конечно, в своем вступительном слове на различии между старой русской политикой и целями пролетарской России. Прежде, говорит он, вы имели дело с царской Россией, полной агрессивных замыслов и являющейся постоянной угрозой для Турции и для мира. Теперь же вы стоите перед лицом советской России, отказавшейся от всяких империалистических целей и питающей дружественные и братские чувства по отношению к восточным народам.

Но как это различие режимов отражается в постановке вопроса о проливах? Чичерин вполне отдает себе отчет в том, что державы попрежнему не согласятся на открытие проливов для одних русских военных судов. И сознавая это, Чичерин, как и царские дипломаты, о т к р ы т и ю проливов для всех военных флагов предпочитает з а к р ы т и е их для всех не турецких военных судов. И с замечательной энергией он защищает эту позицию против союзников, которые оказываются теперь сторонниками разоружения проливов и всеобщей свободы прохода.

Какие же аргументы Чичерин приводит в защиту своего тезиса закрытия проливов? Это закрытие, говорит он, согласуемо с началом равенства государств, тогда как открытие создает преобладающее положение для наиболее сильных морских держав. Отказавшись от Константинополя и освободивши все государства бассейна Средиземного моря от угрозы вековых стремлений царизма, советская Россия никоим образом не имела в виду допустить, чтобы вопрос проливов получил разрешение, направленное против ее собственной безопасности. И Чичерин в безупречном стиле старого дипломата настаивает на «исключительной важности проливов для э к о н о м и ч е с к о й жизни Советского Союза», а также на требованиях о б о р о н ы, причем он подчеркивает, что предлагаемое им решение «составляет единственно возможную гарантию самых элементарных интересов России».

Отвечая Чичерину, главный выразитель точки зрения союзников, первый британский уполномоченный лорд Керзон

---

\*) Livre Jaune Français, Conférence de Lausanne, t. I, Paris 1923.

констатирует, что позиции Европы и России в проливах в настоящее время перевернуты. В самом деле, тогда как западные державы не имеют больше намерения препятствовать свободному проходу русских военных судов через проливы, сама Россия восстает теперь против такой свободы. Русские предложения сводятся к сохранению положения, существовавшего до войны, причем Турция лишается права открытия проливов дружественным и союзным нациям. Лорд Керзон высказывается против системы, которая доверила бы охрану проливов одной Турции и подтвердила гегемонию России в Черном море. Благородный лорд напоминает о недостатках этой системы, позволявшей России делать набеги на Константинополь, а Турции — наносить ущерб нейтральной торговле. Если бы предложения Чичерина были приняты, Россия и Турция, военные суда которых свободно проходят через все остальные проливы света, могли бы препятствовать проходу судов других наций из Средиземного моря в Черное — что было бы верхом несправедливости. Сверх того закрытие Черного моря подчинило бы усмотрению России другие более слабые прибрежные государства. А державы неприбрежные не могли бы защитить свою торговлю в Черном море, тогда как балтийский флот России мог бы защищать русскую торговлю во всех морях. Вообще, заключает лорд Керзон, чем внимательнее мы изучаем русскую программу, тем яснее становится, что она имеет единственной целью превращение Черного моря в русское озеро, верным стражем коего была бы Турция.

В своем ответе Чичерин признает, что действительно Россия и западные державы поменялись ролями. Но он иначе, чем лорд Керзон истолковывает эту перемену. При старом режиме, говорит он, западные державы создавали путем закрытия проливов плотину против русского честолюбия; ныне же Россия желает этой самой плотины против чужих угроз.

Что же касается системы, которую союзники хотят ввести в Черном море, то, по мнению Чичерина, она равносильна «организации не мира, а войны». В самом деле, по этому плану в мирное время силы страны, находящиеся в Черном море, не должны превышать силы самого мощного флота прибрежных держав; таким образом, флоты английский, французский, итальянский в своей совокупности окажутся вдвое сильнее этой самой сильной прибрежной державы (т. е. России); сверх того, каждая держава в о в с я к о м с л у ч а е имеет право на минимум, не превышающий трех судов в 10.000 тонн.

Три вышеназванные государства получают таким образом в Черном море решительный перевес. А в военное время, в случае нейтралитета Турции, враги России могут вводить свой флот в Черное море без всяких ограничений.

Что же касается аргументов, приводимых лордом Керзоном в подкрепление тезы союзников, то советский делегат указывает следующее:

1) Сравнение между черноморскими проливами и другими недопустимо, ибо Босфор и Дарданеллы не соединяют двух открытых морей (Черное море может считаться морем закрытым);

2) обычай сопровождения торговых судов военными давно отжил, и Россия не допустит его возобновления в Черном море. Конечно, закрытие этого моря повлечет за собой для России много осложнений, но она все же предлагает его, как единственный компромисс между расходящимися интересами.

С меньшим жаром Чичерин восстает против предлагаемого западными державами разоружения проливов. Защита Босфора и Дарданелл, по его мнению, должна лежать на суверене их, т. е. на Турции. Чичерин протестует против образования особой Международной Комиссии Проливов, действующей под наблюдением Лиги Наций, а также против обеспечения безопасности их союзными державами; эта безопасность может быть ограждена только суверенной и независимой Турцией. Столь энергичная защита турецких интересов со стороны русского делегата вызывает даже иронию лорда Керзона: «Я спрашиваю себя иногда, говорит он, не представляет ли г. Чичерин Турцию?». Чичерин не остается у него в долгу. Все декларации лорда Керзона, заявляет он, преследуют лишь одну цель: сделать невозможной оборону проливов и Константинополя и подвергнуть Россию опасности нападения со стороны больших флотов.

Конвенция о режиме проливов была подписана 24-го июня 1923 г. в Лозанне следующими державами: Великобританией, Францией, Италией, Японией, Болгарией, Югославией и Турцией. Приводим главнейшие из ее постановлений.

Полная свобода прохода для торговых судов всех флагов в мирное время. Во время войны, в случае если Турция останется нейтральной, она не должна принимать никаких мер, стесняющих свободу прохода и плавания в проливах. Если же

Турция участвует в войне, она все же не должна посягать на свободу нейтральных судов, поскольку они не помогают ее неприятелям (ст. 2, §1).

Совершенно иной, довольно сложный режим устанавливается для военных судов, а именно:

1. В мирное время право прохода военных судов неприбрежных держав обставлено известными ограничениями. Определяется минимум и максимум морских сил, которые каждая неприбрежная держава может проводить через проливы в Черное море. Минимум составляет флотилия из трех судов, с тоннажем не превышающим 10.000. Но наряду с этим неизменным минимумом создается еще **передвигающийся максимум**, который не должен превышать силы самого большого флота прибрежных держав, находящегося в Черном море.

2. В период войны, если Турция нейтральна, сохраняется та же свобода проходов с вышеупомянутыми ограничениями. Турция не имеет права принимать меры, могущие стеснить плавание в проливах. Со своей стороны, воюющим державам возбраняется брать призы, пользоваться правом осмотра и прибегать к военным действиям в проливах.

3. Во время войны, в которой Турция является участником, точно также сохраняется свобода прохода нейтральных судов с вышеуказанными ограничениями.

Третья статья Конвенции устанавливает разоружение буквально: лишение вод и берегов проливов, а также островов, лежащих на них или по соседству, военного характера.

Эта «демилитаризация», гласит статья, имеет целью «обеспечить против всяких нарушений свободу прохода и плавания в проливах». Конвенция точно определяет границы демилитаризованных зон (ст. 4). Демилитаризация заключается в запрещении возводить укрепления или постоянные военные сооружения, а также недопущение стоянок в них вооруженных сил, кроме полиции и жандармерии; Турция сохраняет лишь право транзита (ст. 4). Исключение сделано для Константинополя, где Турция может содержать гарнизон, не превышающий 12,000 человек (ст. 8).

В Константинополе учреждается международная Комиссия Проливов. Она состоит из представителей Франции, Греции, Румынии, Югославии; председательствует в ней представитель Турции.

Комиссия Проливов должна следить за точным соблюдением постановлений Конвенции о проходе военных судов

(ст. 14). Комиссия исполняет свое назначение под эгидой Лиги Наций, которой она представляет ежегодные доклады.

Наконец, Конвенция устанавливает реальные меры, которые должны **гарантировать Турцию против опасностей, могущих ей грозить от демилитаризации проливов и обеспечить свободу плавания в них.**

«Желая, чтобы демилитаризация проливов не стала с военной точки зрения причиной незаслуженной опасности для Турции, а также, чтобы военные действия не грозили свободе проливов или безопасности демилитаризованных зон, Высокие Договаривающиеся Стороны будут применять следующее решение: в случае, если бы нарушение постановлений о свободе проливов, неожиданное нападение, или какое-нибудь военное действие, а также угроза такового подвергали риску свободу плавания в проливах или безопасность демилитаризованных зон, Высокие Договаривающиеся Стороны и во всяком случае Франция, Великобритания и Япония будут им «совместно препятствовать теми мерами, которые укажет Совет Лиги Наций» (ст. 18, ал. 1 и 2).

Смысл Лозанской Конвенции нетрудно разгадать: она вызвана была недоверием западных держав, этих новоявленных сторонников открытия проливов, к искренней готовности России и Турции принять подобное открытие на указанных союзниками условиях.

Начнем с Турции. Идеал западных держав по отношению к ней осуществлен был не в Лозанской Конвенции, а в Севрском трактате, когда в с е казалось дозволенным по отношению к «больному человеку». Севрский трактат создал обширные демилитаризованные зоны; придал демилитаризации драконовский характер и, главное, установил фактическую оккупацию этих зон Англией, Францией и Италией. Лозанская Конвенция сильно обрезала крылья этой мечте союзников: зоны сужены, режим их смягчен, фактически оккупация заменена обязательством всех договаривающихся держав защищать от всяких покушений свободу плавания в проливах и безопасность демилитаризованных зон. Перемена эта объясняется, конечно, неожиданным для западных держав появлением на мировой сцене национальной Турции. Во время заключения Севрского трактата преобразователь Турции Мустафа Кемаль публично квалифицировался державами как **а т а м а н р а з б о й н и к о в**. В Лозанне они договаривались уже с этим «бандитом», как с вождем обновленной Турции и победителем

Греции. Не желая войны, они сделали поэтому новому турецкому режиму известные уступки.

Но дух Лозанской Конвенции не отличается от духа Севрского договора. Турецкие делегаты отдают себе в этом отчет и принимают постановления Лозанны лишь как временное зло, как первый шаг к восстановлению нарушенного турецкого суверенитета. 4-го декабря первый турецкий уполномоченный Исмет-паша торжественно объявляет: «Одни только заявления г. Чичерина согласуются с общей точкой зрения турецкой делегации на открытие проливов для международных морских сообщений в связи с необходимостью одновременно обеспечить безопасность Константинополя и бассейна Мраморного моря». Во время прений турецкий делегат не раз настаивает на опасности, которой демилитаризация подвергает проливы и Константинополь. Таким образом ясно, что Турция примкнула к Лозанской Конвенции далеко не с легким сердцем, а уступая давлению западных держав.

Что же касается значения Лозанской Конвенции для России, то Чичерин весьма убедительно раскрыл его во время полемики с лордом Керзоном. Нам только остается присоединиться к его аргументации и заключить, что Конвенция является циничным и неразумным покушением на самое существование России, будь она императорская, советская или иная. Казалось, вся история России и в частности отмена ею в 1870 году нейтрализации Черного моря могла бы убедить западные державы в том, что всякие стеснения русской свободы будут всегда отброшены при первой возможности. «Великое русское сокровище — честь», и всякий налагаемый на нее Западом «срам» она стряхнет с себя, и притом скорее, чем татарский, а посему Лозанскую Конвенцию с ее попыткой вернуться к временам Крымской войны и выставить в Черном море флот, превосходящий русский, должно считать покушением с негодными средствами.

Б. СОСИНСКИЙ

## С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ

### ДРУГ В ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ

Помните-ли вы подругу Катюши Масловой, ссыльную Марью Павловну?.. «Где бы она ни была, при каких бы ни было условиях, она никогда не думала о себе, а всегда была озабоченна: как бы только услужить, помочь кому-нибудь в большом или малом... Весь интерес ее жизни состоял, как для охотника найти дичь, в том, чтобы найти случай служения другим. И этот спорт сделался привычкой, сделался делом ее жизни. И делала она это так естественно, что все, знавшие ее, уже не ценили этого, а требовали этого».

Я знал и в своей жизни человека, о котором можно было сказать слово в слово то же самое и добавить, пожалуй, несколько наблюдений, придающих этому образу еще более глубокий смысл.

Вызываю в памяти высокую худую фигуру, шагавшую с наклоном вперед, точно необходимость входить в двери слишком для него низкие, ездить в поездах, в паровозных каютах, не на него рассчитанных, — навсегда заставила этого Гулливера снизить свой рост до нормального. Вдохновенное его лицо, с горящими глазами и благородным рисунком чуть приоткрытых губ, было закинута вверх: к небу. На ногах, обмотанных портянками, которые французы называют «chaussettes russes», — повидимому фабрики не выпускали носков его размера, — он носил круглый год огромные деревянные сабо, которые двигались по асфальту улицы, по бетону автострады или по камням тюремного двора, как две баржи. Его военная шинель кончалась на бедрах не по вине интенданта, а рукава доходили до локтей, обнажая широкие, вроде крабьих, руки, неизменно обращенные в сторону тех,

## Н о в о с е л ь е

кто требовал помощи. Если от непосильной работы или длительного перехода, кто-нибудь из тысячной колонны военнопленных падал на дороге, я видел над толпой голову Большого Жака, знавшего все способы подавать первую помощь, хотя он не был ни доктором, ни даже санитаром. Пожитки заболевшего товарища тоже неизменно тащил Большой Жак, и без того перегруженный. Когда между часовыми и пленными бывали перепалки, я опять видел впереди всех размахивавшую нелепыми лапами фигуру вечного защитника наших сомнительных прав. Часовые побаивались страшного гиганта, и Большой Жак почти из всех стычек выходил победителем. Конечно, не все сходило ему с рук: помню, как однажды свирепый унтер-офицер ударил его по лицу. В ответ на это Большой Жак свалил его на землю — единственный случай, которому я был свидетелем в плену — и унтер-офицер не стал стрелять, чтобы было бы естественно. Он поднялся, сплюнул кровь и заорал на всех, чтоб расходились, а Жака посадил в одиночку, ничего не сообщив начальству.

Мы знаем восточную поговорку о плохом и хорошем друге: плохой друг, как тень, при солнце он всегда рядом, а в пасмурный день его не отыщешь. А. М. Ремизов вспоминал в «Кукхе» (1922 г.) свою петербургскую жизнь: «Тесно у нас было, а всегда народ. И это испокон веков. Одно я заметил: в трудные минуты все куда-то пропадали, и мы оставались вдвоем. И еще заметил: у нас бывали всегда «начинающие» или такие, у которых не ладилось в жизни, но когда выходили в люди и устраивались, опять понемногу-понемногу и пропадали. На их место приходили другие — народ не переводился».

Большой Жак появлялся в **трудную минуту**, он был именно «в пасмурный день рядом с тобою». Все его пятилетнее пребывание в плену — это непрерывная цепь страданий во имя облегчения страданий других. Сколько из этих тысячи восьмисот двадцати пяти дней Жак провел в штрафной роте, он и сам не знал, хотя его многочисленные друзья вели строгий счет этим дням: после каждого исчезновения Жака они нетерпеливо считали часы до нового с ним свидания. Он «всегда был озабочен как бы только услужить, помочь кому-нибудь в большом или малом». Многие не понимали его, а толстокожие обращались с ним грубо и свысока. Это его не обижало.

Большое его тело постоянно требовало еды: больные, или те, что питались посылками с родины, отдавали ему свои порции картофельного супа, а повар, вливая в наш котел лишнюю ложку, говорил: «Это для Большого Жака». И тот охотно принимал такие подаяния, хотя и был человеком гордым.

На груди он носил, никогда не снимая, лотарингский крест — символ свободной Франции, — запрещенный к ношению немцами, и презирал «старца из Виши».

— Ему оказали кредит под Верденом, — говорил Жак. — Он его использовал, чтобы запятнать нашу честь. Наполеоновские генералы тоже выдыхались после одной-двух битв, а им продолжали курить фимиам.

В. Ардов так пишет о погибшем в Великой Отечественной войне русском сатирике Евг. Петрове: «Петров очень увлекался идеей «сервиса». Как известно, это английское слово означает всяческое обслуживание, всяческую помощь, облегчение любого дела, любой человеческой потребности».

Наиболее ярким примером «сервиса», из всех, кого мне удалось до сих пор встретить, был Жак-Мария Герр, по прозвищу Большой Жак.

### **Люди, не оставляющие в истории следов**

В те дни я увлекался французской литературой, изучая эпоху давшую нам Анатоля Франса, Шарля Пегги, Марселя Пруста, Поля Валери, Андре Жида. Большой Жак мне странно напоминал Люсьена Герра, библиотекаря Эколь Нормаль. Это имя известно лишь тем, кто внимательно изучал молодость французских писателей; многие из них еще живы. Люсьен Герр, никогда не разлучавшийся с книгами, сам не написал ни одной. Но те, кто писал их, вплоть до Бергсона, признаются, что их самые заветные идеи и образы были подсказаны Люсьеном Герром. Это был сеятель, отказавшийся пожинать плоды своего блестящего урожая. В духовном плане — это был Большой Жак.

Как-то я прочел Большому Жаку отрывок из воспомина-

## Н о в о с е л ь е

ний Анатоля Франса о любимом его учителе, Дюбуа: «Это был человек, умом своим превосходящий всех, кого я знал и кого узнал впоследствии на протяжении всей моей долгой жизни, а между тем я общался с людьми, которые стали знаменитыми из-за написанных ими книг. Но пример Дюбуа и некоторых других, не оставивших после себя литературных произведений, — дает мне право думать, что **наиболее великие человеческие ценности могли погибнуть, не оставив после себя никаких следов.** И следует ли удивляться, что тот кто презирает славу, может быть выше того, кто завоевал ее своими льстивыми словами».

## Ч Е Л О В Е К И В А Н Ы Ч

Он до смерти работает,  
До полусмерти пьет.

**Некрасов.**

Русское лицо — таким рисуют сказочного Иванушку: широкий нос кверху, прямой невысокий лоб и при этом яркие рыжие волосы — Человек Иваныч!

Однажды он поставил в Париже, только что принявшем сорокачасовую неделю, необыкновенный рекорд: 140 часов труда за семь дней. Невозможно этому поверить: (полярные исследователи, пилоты больших рейдов быть может и ставили подобные рекорды — ведь это всего за неделю 28 часов сна), но я, неоднократно наблюдавший Человека Иваныча в напряженные минуты его творчества, этому верю. Помню, он был болен, не спал две ночи, валился с ног, но в а л и л с я опять же на работу. Держась одной рукой за живот, другой — с редкой даже для типографа быстротой — он вкладывал листы в печатную машину. Чем не Сезанн в свой последний день, в саду, перед моделью крестьянина?

Типография помещалась в полуразвалившемся здании, крыша протекала и в дурную погоду скрипела и колыхалась от каждого порыва ветра. Машины, кассы, инструменты были

изношены и, казалось, давно отслужили свой век. Но это именно и увлекало Человека Иваныча. Это было его стихией. Все его починки были несолидны — все прилаживалось на авось и держалось на ниточках. Глядя на него, я себе ясно представлял, как обламывается крыша накануне им починенная, и как он, поддерживая ее, например, метлою, лихорадочно продолжает тираж на своем стонущем всеми винтиками станке. Мне казалось, что все, наконец, рушится — и вот из обломков вырастает его рыжая голова: Человек Иваныч продолжает сколачивать упоры в форме, вертит рукой (ибо нет уже электрического тока) колесо машины, чтобы закончить нужный тираж. На него падают балки и камни соседних строений (это было незадолго до войны и я, кажется, представлял себе бомбардировку Парижа), и когда он погибает на посту, то уносит в могилу молоток для вбивания упоров в свой вечно расплзающийся гроб.

Титаническая борьба с болезнями, которыми болеет материал, борьба за продление жизни вещей, с которыми он работает, их омоложение и даже воскрешение из мертвых (универсальным магазинам он предпочитал Блошиный рынок), — вот одно из главных вдохновений в работе Человека Иваныча. И чем труднее починка, тем сложнее приспособление, придуманное им для того, чтоб вещь снова ожила и втянулась в магический круг труда, тем яростнее его усилия в преодолении препятствий. Сбитую букву или линотипную строку, поврежденную неловким движением его сомнамбулистического молотка, он никогда не попросит заменить новыми. Он будет десятки раз вынимать из машины форму, подклеивать кусочки бумаги всех сортов, подталкивать и подбивать с разных сторон стонущие колонки набора, но от принципа своего не откажется. Печатный станок, мотор, даже простой молоток покрыты у него целым роем приспособлений. Как паразиты, овладевающие живым существом, они доминируют над самой машиной или инструментом. Я не представляю себе моего героя работающим за только что вышедшим с завода печатным станком — мне даже кажется, что если бы это случилось, Человек Иваныч тотчас бы заскучал, утомился и очень скоро разочаровался бы в своем увлекательном ремесле. Один русский экономист как то обмолвился в разговоре со мной, что самый дорогой вид производства — это брак. Конечно, и Человек Иваныч производил много брака. Я думаю, никогда бы он не напечатал десять тысяч летучек с крупным заголовком

## Н о в о с е л ь е

вверх ногами, если бы не был слишком углублен в работу, слишком захвачен ею. И в самой организации его работы я обнаружил много несообразностей. Все это при наличии определенной сметки, особенно в мелочах, и незаурядной способности ума к сложнейшим комбинациям. Зато, преодолев препятствия, с какой удивительной быстротой Человек Иваныч наверстывал потерянное время: безостановочно, без передышки, без единого вздоха он печатал огромные тиражи. Как на шарнирах вращалась его шея, мелькали почти невидимые руки, шуршала бумага — и следя за ним в такие часы, я смутно догадывался, что он принадлежит к славной плеяде людей, которые о д е р ж и м ы трудом.

# Н О В Ы Е К Н И Г И

## РАССКАЗЫ Т Э Ф Ф И

Почти все рассказы нового сборника Н. А. Тэффи «Всё о любви» (Париж, 1947 г.) описывают любовный быт русской эмиграции в Париже. Где бы ни разворачивалось их действие — в ресторанах с шашлыком, пельменями и осетриной, в третьеразрядных отелях парижской окраины или в квартирах преуспевших дельцов, их героини и герои ничуть не меняются. Это «знакомые все лица»: молодящиеся дамы, густо накрашенные старухи, жены, обманывающие мужей с мышинными жеребчиками и безголовыми танцорами, мужья, обманывающие жен с их легкомысленными подругами, корыстолюбивыми певичками или «непонятыми натурами» из Царевкокшайска. В этом пустом и пошлом мирке все сводится к проблеме «треугольника», и все горести и радости основаны на нелепости, лжи и жалких иллюзиях. Женщины воображают, что в них «безумно» влюблены все их знакомые, мнимые любовники всякими правдами и неправдами пытаются отделаться от «птичьих дур»; почтенные отцы семейств выдумывают интриги на стороне. Зина задыхается от «достоинства» Васи, относящегося к ней как «к какой-то уважаемой тетке», а Вася считает ее «тургеневской девушкой», «святой недотрогой», и оба тщательно скрывают свои свидания — он с ее веселой подругой, она — с его разбитным товарищем («Дон Кихот и тургеневская девушка»). Вера Сергеевна мучается, потому что «наглая девка» Элиза Герц отбирает у нее мужа, Николая Андреевича. В борьбе за свое счастье и очаг Вера Сергеевна создает «домашний уют», заботится о своей внешности и туалетах, читает книги, чтобы быть «интересной» — вообще живет полной жизнью. Но когда Элиза Герц уезжает, все становится бесцельным и скучным, муж вечно торчит дома и всюду сует нос — и существование обоих пусто и никчемно («Кошмар»). Изредка в этой галлее пошляков мелькают круглые идиоты вроде Бульбезова, строчащего возмущенные письма в редакцию («вы напечатали — «разум муравьев», а где у муравья череп?») или носители мудрости, как Маргарита Николаевна, дама неопределенной масти. Маргарита Николаевна понимает, вечная

## Н о в о с е л ь е

любовь возможна у голубей, но немыслима для двуногих, и дает советы обиженным женщинам: «плюнь... тебе изменили, и ты измени... от бабников нам весело, от однолюба толку нет».

Как всегда у Тэффи, в сборнике много острых словечек, кратких, но выразительных описаний (например, характеристика художественной программы русского ресторана в рассказе «Время»), умных наблюдений, блестящего юмора. Быть может, она ставила себе более сложную задачу, чем показ быта в зеркале анекдота и забавной истории. Но читатель несколько утомлен от непрерывного появления птичьих дур, «папочки» с брюшком и глупого любовника. Все они на одно лицо — точно не было у автора желания сделать их индивидуально разнообразными. Можно, конечно, возразить, что все дело именно в отсутствии у них индивидуальности, в их серединности и безличности. Но эти «безличности» с их одинаковыми реакциями и любовными приключениями следуют одна за другой с повторностью серийных номеров. Поэтому читать «Всё о любви» подряд не следует: вся книга об одном и том же — не столько о любви, сколько о «вечно бабьем» и «вечно дамском». В одном из рассказов Тэффи замечает: «дамы были уже не первой молодости и поэтому говорили о любви». Фраза эта могла бы послужить эпиграфом к сборнику, определяя границы его содержания.

Но и в этих пределах все те, кто любит Тэффи, найдут всегда привлекавшие их черты ее художественного мастерства, разбросанные в отдельных очерках: соединение юмора с лирическим чувством, искусство короткой новеллы в чеховском стиле, точность реалистических подробностей, меткость языка и ту особую умную насмешливость, которая составляет одну из основных особенностей автора.

**Марк Слоним**

## Т О , О Ч Е М Н Е Л ь З Я З А Б Ы В А Т ь

Трудно в наши дни отделаться от мысли, что многие современники торопятся забыть в недавнем прошлом все, выходящее за пределы нормы — и безмерную жестокость, и небывалое подвижничество. В основе этого стремления лежит боязнь сделать выводы из уроков истории, поддерживаемая реакционными силами. Коллективный героизм не только изумляет, но и обязывает; он является движущей силой и для

будущего. Мы все в ответе перед мертвыми. Это поняли те итальянцы, которые, видя явственный рост неофашизма в стране, с горечью говорят о напрасной жертве похороненных здесь американских солдат, умиравших во имя свободы.

Память о героях и мучениках Сопротивления — не просто дань личной скорби и уважения, но и прямой долг каждого современника. Поэтому нам кажутся «томов премногих тяжелей» две тонкие книжечки, изданные Содружеством Русских Участников Сопротивления во Франции\*). В наше путанное, противоречивое время эти книжки напоминают о недавней, но кажущейся отдаленной эпохе, когда линии были ясны и резко очерчены, когда люди вставали во весь рост, и борьба между силами добра и зла велась на всех участках жизни человечества.

В простых, сдержанных словах формулирует редакция «Вестника» свою задачу: «Мы попробуем запечатлеть облик тех, кто от нас ушел навеки; записать, что было... в уже далекие счастливые дни Резистанса. Счастливые? Да, и еще как! В них все было предельно ясно, в них иначе жить было невозможно — это не просто дни нашей жизни, а дни встречи с судьбой, с резко поставленным вопросом, на который надо было сразу и целиком дать ответ».

Редакция констатирует: дата 22-го июня 1941-го года была и для многих русских, очутившихся за границей, днем мобилизации. И если нередки были случаи, когда отрыв от России и неумная злоба против нее приводили эмигрантов к двойному предательству и сотрудничеству с врагом, большинство эмиграции в дни катастрофы почувствовало и долг перед страной, оказавшей гостеприимство, и связь с далекой родиной. Русских резистантов в их борьбе одушевляла двойная любовь и удвоенный гнев.

Работа в Резистансе, общую характеристику которой дает в 1-ом номере «Вестника» И. А. Кривошеин, протекала в различных планах — организационном, социальном, политическом, военном. Резистантской по духу своему была и мирная

---

\*) «Вестник Русских Добровольцев, Партизан и Участников Сопротивления во Франции» № 1 и 2, июль 1946 г. и февраль 1947 г., Париж.

по форме, но требующая исключительного самопожертвования и мужества деятельность матери Марии, о. Дмитрия Клепинина, И. Фондаминского, оказывавших материальную и моральную помощь русским, пострадавшим от оккупации. О. Дмитрий Клепинин скончался в феврале 1944 года: он умер от воспаления легких на грязном полу страшного концентрационного лагеря «Дора». В трогательных словах воссоздает облик мученика личный друг его и соратник Ф. Пьянов, узник Бухенвальда («Вестник», № 1), утверждающий, что о. Дмитрий... свой путь гибели... избрал по глубокой вере, любовно, добровольно, ибо в этом и был его крест, заповеданный Христом». Тем же путем шла и мать Мария, о встрече с которой в лагере Равенсбруке кратко, но памятно рассказывает С. Носович. «У магушки... злобы не было — был гнев души: она пошла на борьбу против немцев... за самую сущность христианского учения и не раз повторяла: «Вот это у них и есть тот грех, который... никогда не простится — отрицание Духа Святого. Она близко сошлась со многими советскими девушками и женщинами, бывшими в лагере, и всегда говорила от том, что ее заветная мечта: поехать в Россию, чтобы работать там не словом, а делом, и чтобы на родной земле слиться с родной церковью».

Настоящими боевыми резистантами были Борис Вильде, Анатолий Левицкий, Вера Оболенская, Сарра Кнут, Тамара Волконская, Павел Зиссерман, русские военнопленные Ковалев и Ершов. Из этой вереницы подлинных героев первые двое, Вильде и Левицкий, неразрывно связаны были жизнью, работой, смертью. «Оба — говорит вступление ко 2-му выпуску «Вестника» — погибли во цвете лет, пожертвовав всей своей личной жизнью, своими успехами и научной карьерой... Вильде был не только ученый, он был и поэт, и спортсмен, человек отчаянной храбрости, даже не чуждый авантюриности — подлинное дитя нашей революционной эпохи. Левицкий — человек тоже волевой и вполне современный, но более мягкий, скорее тип того, что принято называть кабинетным ученым. В волнующем очерке, посвященном делу «Музея Человека» — научной организации, превращенной в первую ячейку Резистанса (это слово родилось в тайной типографии «Музея»). Б. Сосинский рассказывает об этих замечательных людях, своим мужеством на суде ошеломивших прусских чиновников.

В. Варшавский дает яркий образ Бориса Вильде, человека, который узнав о приговоре, записывает: «Быть расстре-

## Н о в ы е к н и г и

лянным это в некотором роде логическая развязка моей жизни». Тюремный дневник Б. Вильде и предсмертное письмо его к жене свидетельствуют о высоком подъеме духа и обнаруживают глубокие эмоциональные корни ненависти к фашизму: это исторические документы, которые должны быть сохранены. Истории принадлежит, впрочем, и весь остальной материал о русском движении Сопротивления, собранный его активными участниками. Но эта история не академическая, а действенная, призывающая живых выполнить завет погибших.

**С. Дубнова.**

Я. А. БРОМБЕРГ

## ЗАМЕТКИ ПО ВОПРОСАМ РАННЕЙ ИСТОРИИ РУСИ И ЕВРОПЕЙСКОГО ВОСТОКА<sup>1)</sup>

### КОММЕНТАРИИ К СЛОВУ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

#### 1. Харалуг, харалужный

Мечи харалужные, копия харалужные, в жестоцем харалузе... Этот таинственный харалуг встречается в Слове пять или шесть раз. Некоторые комментаторы искали в нем тюркское «каралык, чернь». С. В. Геденов, представитель не-скандинавской точки зрения в споре о призвании варягов, первый указал на сходство с «корляг», «корлязи», под которыми известны в славянской традиции каролинги. Однако, у нас не имеется достаточно данных полагать, что с каролингами у славян связывалось представление о какой-нибудь особо ценной разновидности оружейной стали; все основывается лишь на звуковом сходстве.

В таком случае можно обратить внимание на другие термины исторических и легендарных сказаний, фонетически еще ближе подходящие к харалугу, чем каролинги, т. е. на харалунгов, харлунгов, херелингов. Они часто упоминаются в разных версиях германского эпоса об Эрманрихе, могущественном остготском короле, которому были подвластны обширные пространства на север от Черного моря, как неславянские, так и заселенные вендами (славянами). Эрманрих жил свыше ста лет и, по Иордану (Иорнанду), покончил с собой, не сумев задержать нашествие невиданных дотоле гуннов (около 375 лет по Р. Х.), послужившее толчком к т. н. великому переселению народов.

---

<sup>1)</sup> См. No. No. 14-15 и 21 «Новоселья».

В поэме Хамдирмаль харлунгами называются три сына королевы Гудрун, отправившиеся в земли Эрманриха, чтобы отомстить ему за смерть Свангильды, сестры их матери. Свангильда была предана своим мужем Эрманрихом мучительной казни: растоптана конями за любовную связь с его сыном, которого он велел повесить (общеизвестный «странствующий» мотив Ипполита и Федры, Тристана и Изольды и пр.). По другим вариантам харлунги, племянники Эрманриха, были повешены им безвинно, по наговору клеветника. Имеются также варианты, вмешивающие в это дело Дитриха Бернского, т. е. Теодориха Веронского или Равенского (Великого), готского завоевателя Италии, жившего на полтора столетия позже, чем Эрманрих. Стараясь примирить различные версии, Кассиодор-Иордан, Саксон Грамматик и другие ранние хронисты вносят в них много произвольных упрощений и отсебятины, запутывая дело так, что зерно исторической правды едва-ли когда-нибудь удастся найти<sup>2)</sup>.

За невозможностью установить историческую личность харлунгов, исследователи пытаются объяснить этот термин, как племенное наименование. Вариант «херелинги» связывают с восточно-германским племенем герулов, родственных готам и подобно им живших на юге теперешней России. Слабость обоснования состоит в том, что начертание «герулы» не может считаться твердо установленным; возможно, что правильное название этого народа было «эрулы», и тогда связь с херелингами делается иллюзорной.

Вспоминаются харии, о которых говорит Тацит. Мюлленгоф в своих классических Германских Древностях связывает их с готами. Имя хариев он производит от корня, родственного современному немецкому «Heer», войско; интересно, однако, что по этому поводу Мюлленгоф вспоминает херусков, знаменитых победителей римских легионов Вара, имя которых производится от готского *hairus* и саксонского *heru* — «меч». В готской Библии Ульфилы через *hairus* всегда переводилось греческое «махайра» — «меч», родственное современному немецкому *Messer* «нож», а также саксонскому *mâki*, англосаксонскому *mæce* и славянскому «меч». Имена германских племен

<sup>2)</sup> Из литературы об Эрманрихе отметим главы в большом современном труде Германа Шнейдера о германском эпосе и книгу «Легенды об Эрманрихе» американской германистки Каролины Брэди.

и групп нередко производились от названий металлов и оружия. Можно привести кроме упомянутых херусков еще имя саксов, так как корень *sahs*, по указанию Мюлленгофа, родственен латинскому и славянскому корню *see* (например, в таких словах, как «секира», *securis* и т. п.).

Можно поэтому считать возможным, что харлунги, херелунги легенды являются эпонимами племенной группы, имя которой происходило от *hairus*, *heru*, «меч». Общеизвестен индо-европейский корень *her*, *fer* — «железо»; последняя форма свойственна романским языкам, но в одном из них, испанском, перешла опять в более древнюю форму *her*.

Если предлагаемое сближение верно, то обозначение «харалуг», «харалужный меч» могло произойти оттого, что на заре истории славян, при соприкосновении их с германцами, меч был воспринят ими, как тотемистическая эмблема какого-то родственного готам племени харалунгов-мечников, меченосцев. Более материалистическое объяснение состояло бы в обозначении славянами стального оружия по имени ремесленной группы, жившей обособленно в Германии (например, в Штирии) или в Скандинавии, по исконной традиции работников железа у всех первобытных народов, и которую соседи называли харлунгами, херелингами-оружейниками, сталеварами или торговцами железом, «железняками». Позднее форма «меч харалужь», «харалужий» могла перейти в «харалужный» и приобрести смысл оружия, сделанного из материала «харалуг».

## 2. Шеломы Оварьския

«Поскепаны саблями калеными шеломы Оварьския». Исследователь этого места М. Ю. Шефтель полагает, что под шеломами оварскими надо разуместь шлемы аварские, и что речь идет о продуктах оружейного мастерства кавказского племени аваров, в имени которых продолжает жить память о грозных завоевателях VI-VII века.

Можно, однако, настаивать на начертании Овар, соблюденном в обоих известных нам первоисточниках текста Слова. «О вар» по венгерски означает «старый город»; этим направление поисков сразу устанавливается. Венгры, как известно, отнюдь не старейшие насельники исторической Венгрии; в их языке до сих пор сохранились названия старых славянских, германских и латинских поселений, которые они застали при

завоевании страны. Разоренные и безымянные пункты незапамятной древности венгры называют «вархель» (место города, городище) или «овар» (старый город). Немудрено, что Оваров в Венгрии имеется несколько. Довольно важным местом является Овар (по-немецки Burg) в комитате Ваш на крайнем западе исторической Венгрии, к западу от большого города Сомбатхель, у подножия «Железной горы» Вашхедь или Эйзенберг. Это, некоторым образом, Магнитогорск тех краев; самое имя уезда Ваш означает железо; в нем же находится и «железный город» Вашвар. Комитат Ваш, граничащий со Штирией, представляет собой часть штирийского бассейна железнорудных месторождений, с доисторических времен являющегося основной сырьевой базой южно-среднеевропейской стальной промышленности. Во времена римской империи железную руду добывали не в Норикуме, куда входила западная Штирия, а в Паннонии (Венгрии к западу от Дуная). Паннонская руда издавна пользовалась славой и упоминается у римских писателей<sup>3)</sup>. При аварском владычестве установались торговые связи между венгерской равниной и пространством к востоку от Карпат. Возможно, что и после разрушения аварской империи паннонские оружейные изделия направлялись в степи евразийского востока, продолжая славу паннонского Овара, как железоделательного и оружейного центра.

В настоящее время Овар — Бург входит в состав республики Австрии, находясь в пределах небольшой области с немецким большинством населения, для которой было изобретено имя Бургенланд. В старину местность была славянской, как свидетельствуют хотя бы имена рек: Pinka, на которой расположен Овар (Пенка), Feistritz (Быстрица) и Rabnitz (Рябица).

### 3. Шелбиры

В своем «золотом слове» по случаю поражения и пленения князя Игоря Святославича великий князь Святослав Всеволодович упрекает за неудачу не то своего брата Ярослава Черниговского с его «черниговскими былями, с могуты и с Татраны и с Шелбиры, и с Топчакы, и с Ревугы, и с Ольберы», не то самих неудачливых героев Игоря и Всеволода, ринувшихся на половцев, не дожидаясь подмоги от Ярослава. Об-

3) См. «Историю железа» Людвиг Бека.

яснение былей, могутов, татранов и топчаков имеется у комментаторов, смысл ревугов пока еще как будто не поддается истолкованию. О шелбирах в последний раз писал венгерский тюрколог Л. Рашоньи-Надь<sup>4</sup>), но едва ли пришел к определенному заключению. Нам удалось найти имя шелбириков или чилбириков в византийских хрониках VI-го века. Иоанн Малала и другие византийские источники, из него выписывавшие, сохранили имя гуннского царька Чилгбира времен Юстина 1-го в Греции (518-527) и Ковада в Персии (489-531). Его племя политически лавировало между обеими великими державами того времени. Получая субсидии от константинопольского двора, он откочевал (около 520 г.) в Персию для службы против византийцев. Узнав это, византийцы донесли обо всем шаху Коваду, который в чисто восточном припадке оскорбленного благородства велел умертвить Чилгбира и перебить большую часть своих новоявленных и нежелательных союзников. Подробности этой восточной трагедии Нибелунгов остались неотмеченными в письменных памятниках, но среди кочевников острстка должна была запомниться надолго. Имя вождя у Иоанна Малалы, в Пасхальной хронике, у Феофана Исповедника и у Иоанна из Никиу дано в несколько искаженной форме: Цилгиби и т. п., но еще в XVII-ом веке французский византолог Дюканж в своем комментарии к Пасхальной хронике восстановил правильное греческое начертание Тцилгбирис. Едва ли можно здесь отличить название племени от имени вождя. Тюркские племена часто носили имя памятного предводителя или родоначальника. Так, у Иордана (Иорнанда) имя Ульчинджур один раз отнесено к вождю кочевого племени и родственнику Атиллы, а в другой раз — к его племени. Самый известный пример такого рода — перенятие уже в позднейшую эпоху турецким народом имени вождя Отмана.

Возможно, что потомство народа чилбириков, шелбириков, удержалось в течение веков среди каких-нибудь затерянных урочищ в степях южной России и Предкавказья и, подобно другим «мирным» кочевникам на пространствах между Черниовым и искони связанной с ним Тмутараканью, находилось в «сфере влияния» черниговских князей.

<sup>4</sup>) В *Анналах семинария имени Н. П. Кондакова*, кн. VIII, р. 229, Прага, 1936 г.

# ПАМЯТИ УШЕДШИХ

## СЕМЕН ИСАЕВИЧ ЛИБЕРМАН

Более года тому назад скончался мой друг Семен Исаевич Либерман. Я познакомился с ним, кажется, в 1912 г. в Киеве. От первой встречи у меня осталось воспоминание, что он социал-демократ, меньшевик. Тогда же я познакомился с его женой, очень одаренной, которая впоследствии сделалась другом нашей семьи.

С С. И. я начал встречаться в 1918 году в Москве, в разгар революции, в самое тяжелое время. Он занимал высокий советский пост, стоял во главе лесной промышленности. Если мы не замерзли окончательно в эти трудные годы, то только благодаря ему. Он доставлял нам дрова, насколько это было возможно. Тогда я узнал его ближе. Это был человек, всегда готовый прийти на помощь. Для него характерно было соединение большой доброты с большой деловитостью; у него были специальные дарования в области хозяйственной, которые не часто встречались в первом поколении коммунистов. С. И. принадлежал к тем социал-демократам, которые считали возможным сотрудничать с новой властью. Взгляды его оставались прежними, но он думал, что даже если революция произошла не так, как он хотел, нужно сделать все, чтоб русский народ менее страдал, и экономическая жизнь в России развивалась. Он делал все, что мог, но постоянно встречал препятствия, и положение его в конце концов стало настолько трудным, что после одной из поездок за границу он вынужден был остаться там, не делаясь, однако, врагом Советского Союза и сохраняя советскую ориентацию.

Я был выслан из России в 1922 г. Жил сначала в Берлине и в Париж переехал только в 1924 г. В это время мы часто встречались с С. И. Со своей обычной добротой он всегда готов был помочь нам в трудные минуты, и тогда особенно проявлялись черты его исключительной чуткости и деликатности. Его мучил вопрос о возвращении в Советскую Россию, где он был очень активен и полезен.

Я всегда чувствовал в нем двойственность: он имел то, что

## Новоселье

называется «советской ориентацией», верил, что СССР в своем развитии выйдет на светлый путь и осуществит справедливый строй, и вместе с тем ко многому относился критически. У него не было слепого пристрастия ко всему, что совершалось. Он допускал свободную критику.

По своим взглядам С. И. был нетоталитарным марксистом-меньшевиком. Наряду с этим в нем происходил и глубокий религиозный процесс. В его душе были истоки веры, которая так сильна была у его деда и о которой он с таким чувством пишет в своих воспоминаниях. К христианству он относился с большим сочувствием.

Такие люди, как С. И., были нужны в Советской России и много могли бы там сделать. Но с известного момента С. И. попал на подозрение, а смерть Ленина, с которым он был в хороших отношениях и который его всегда защищал, поставила его в беззащитное положение.

В 1940 г. перед занятием Парижа он уехал в Америку и оставался там до самой смерти.

С. И. оставил после себя книгу «Дела и люди». Она читается с большим интересом и много дает для понимания процессов, которые происходили на верхах советской власти до 1926 г. С. И. пишет объективно и правдиво. Некоторые характеристики очень яркие, таковы характеристики Ленина, Красина, Троцкого, Ларина, Рыкова. Ленина он ставит очень высоко и видит в нем главную опору для своей деятельности. Красина он характеризует, как человека делового, хорошо ориентировавшегося в экономических вопросах. Противоположностью ему был Ларин, который создавал фантастические полубредовые проекты.

Трудность положения С. И. заключалась в том, что он продолжал думать, что хотя революция произошла не так, как должна была, необходимо работать с той властью, которая единственно существует. Он хотел только более интенсивных отношений Советской России с Западной Европой, выхода из изоляции. В Америке, в отличие от многих русских эмигрантов, он стоял за сотрудничество с СССР. Насколько я знаю, он помогал русским изданиям в Америке, если они не принимали антисоветской окраски.

С. И. был прежде всего человек и сочувствовал в коммунизме тому, что было в нем человеческого. Оригинальность его характера заключалась в соединении организатора-дельца

## Памяти ушедших

с человеком, устремленным к более справедливому и совершенному социальному строю.

С. И. был своеобразной индивидуальностью, в нем сочетались разные черты. Перед смертью у него усилились религиозные настроения, что несколько не изменяло, как это часто бывает, его социальных взглядов.

Я вспоминаю о нем с очень теплым чувством.

**Николай Бердяев.**

---

### СЕРАФИМА ПАВЛОВНА РЕМИЗОВА

13 мая 1947 года исполнилась 4-ая годовщина со смерти Серафимы Павловны Ремизовой — она умерла в Париже в самое тяжелое время войны и немецкой оккупации. Вероятно, только этим и объясняется, что в печати не появилось о ней некролога: С. П. знали в широких кругах и очень ее любили.

Серафима Павловна была необыкновенно одаренным человеком с исключительным характером, горячим, прямым и непримиримым — все в ней было значительно.

Жизненный путь С. П. — путь русской интеллигентки ее времени. Она родилась в семье крупных помещиков, в имении Берестовец, Черниговской губернии. Детство ее нам известно по книге «Оля», написанной А. М. Ремизовым на основании ее рассказов.

Русскую старину С. П. знала с детства, по семейным традициям и архивам, хранившимся в ее родовом доме. Впоследствии она избрала своей специальностью русскую палеографию. С. П. была знатоком русского языка и русской древней письменности.

По своей воле, несмотря на несогласие семьи, она покинула дом, поехала в Петербург на Бестужевские Курсы и окончила историко-филологическое отделение.

С. П. рано ушла в революцию. Ей была по душе партия социалистов - революционеров, несколько родственная славянофильству. С. П. была арестована и год просидела на Шпалерной. За этим последовала ссылка: Устьсысольск, Сольвычегодск, Вологда.

## Н о в о с е л ь е

Жизнь С. П. была богата встречами: кого она только не знала из видных революционеров — и сверстников и старшего поколения!

Брешковская ценила и любила С. П. — Вы нам нужны, — говорила она, — у нас есть генералы и солдаты, а офицеров не хватает.

Но С. П. не посвятила себя революции, ее путь был иной.

В Вологде С. П. встретила с А. М. Ремизовым.

По окончании срока ссылки Ремизовы жили постоянно в Петербурге. Здесь С. П. окончила Русский Археологический Институт со званием действительного члена. Ее учителями были: Шляпкин, Платонов, Лихачев, Каринский.

С. П. была ценной сотрудницей А. М. Ремизова, и будучи знатоком русской и славянской грамматики, разбирала и растолковывала старинные документы.

На квартире Ремизовых в Петербурге бывали представители тогдашней «левой» литературы, начиная с самого ее зарождения: декаденты, символисты, футуристы — Бальмонт, Брюсов, Гиппиус, А. Белый, Блок, Вяч. Иванов, Бурлюки, Хлебников...

Серафима Павловна не писала сама, но обладала слухом точным и верным и была «цензором» и корректором А. М. Она превосходно читала стихи, особенно Блока, и слушавшие ее никогда не забудут ее голоса, ровного и глубокого, без всякого актерства проникавшего в музыкальную сущность стиха.

В Париже С. П. продолжала свою научную деятельность, она была профессором в Школе Восточных Языков и читала лекции по русской палеографии.

Глубокая религиозность освещала всю жизнь С. П. Она не терпела компромиссов и сделок — «сглаживания углов», как она говорила.

Церковные службы на Страстной неделе отвечали ее вере: ее чувство, пламенное и сильное, никогда не притуплялось. Воскресение Христа было для нее не символическим, а действительным. Многие друзья, конечно, помнят ее на Пасху: она щедро делилась своей радостью и сиянием с теми, кто посещал дом Ремизовых. Серафима Павловна надевала разноцветное ожерелье, два раза обивая им шею. Это была длинная цепочка со множеством маленьких пасхальных яичек — брелоков. Перебирая их, она называла имена даривших:

Сомов, Чехонин, Добужинский, Гумилев, Кузмин, Андрей Белый, Блок...

## Памяти ушедших

После смерти С. П. эти ячки были разделены между ее друзьями, но многие — золотые и серебряные — как раз наиболее ценные по памяти, пришлось продать еще прежде, во время последней болезни, в период большой нужды.

В дружбе С. П. была как и во всем — горяча, иначе она любить не умела. Зато, не вынося ни в чем равнодушия, иногда становилась взыскательной и властной. С детьми она всегда была терпелива, не допускала насилия и наказаний, и дети любили ее.

З. Н. Гиппиус сохранила ее живой образ в стихах ей посвященных:

То бурная, властно мятежная,  
То тише вечернего дня:  
Заря огневая и нежная  
На небе взошла для меня.

Простая, спокойно-суровая,  
Как правда пряма и ярка,  
Чиста, как вода родниковая,  
Как чистый родник глубока.

Последняя, очень долгая болезнь Серафимы Павловны была мучительна, но свои страдания она переносила с кротостью и мужеством. Она скончалась 13 мая 1943 года.

**О. Андреева.**

**ВЫШЛИ В СВЕТ И ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ**

**НОВЫЕ РОМАНСЫ**

**БОРИСА ПРЕГЕЛЯ**

**ВСЕ ЭТО БЫЛО (А. Блок) .....0.75**  
**ДЕВУШКА ПЕЛА (А. Блок) .....0.50**  
**У СЧАСТЬЯ НЕТ ВЧЕРА (С. Прегель) ....0.60**  
**ЭТО БЫЛО ДАВНО (С. А. Сафонов) .....0.50**  
**ПЕРВОПУТОК (С. Прегель) .....0.50**

**Склад издания**

**RUSSIAN-AMERICAN MUSIC PUBLISHERS, INC.**

**19 West 44th Street, New York, 18, N. Y.  
Phone VA. 6-0834**

**ВЕСТНИК**

**РУССКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ПАРТИЗАН  
И УЧАСТНИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ**

**Содержание: Памяти Бориса Вильде и Анатолия  
Левицкого; Русская женщина в рядах Со-  
противления; Из архивов Содружества,  
Критика и библиография и т. д.**

**СКЛАД ИЗДАНИЯ:**

**ДОМ КНИГИ, Maison du Livre Etranger**

**9, Rue de l'Eperon  
Paris (6)**

НОВАЯ КНИГА

Н. А. Т Э Ф Ф И

# ВСЁ О ЛЮБВИ

Продается на книжном складе Е. Н. РОЗЕН:

**International Book Service**

Mrs. K. N. ROSEN

410 Riverside Drive, Apt. 141

New York 25, N. Y.

Цена 1 долл. 50 центов

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

книга

БОРИСА ПАНТЕЛЕЙМОНОВА

# “ЗЕЛЕНый ШУМ”

Париж, 1947 г.

Обложка работы художника А. Б. Серебрякова

240 страниц — Цена 2 доллара

Продается в США в книжном складе:

INTERNATIONAL BOOK SERVICE

410 RIVERSIDE DRIVE

New York 25, N. Y.

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

# НОВОСЕЛЬЯ

ДЛЯ ВСЕЙ ЕВРОПЫ

является

# “ДОМ КНИГИ”

9 RUE DE L'EPERON - - PARIS — 6e

